Владимир
Набоков



CORPVS

Защита Лужина

Защита Лужина

Владимир Владимирович Набоков

Аннотация
Владимир Владимирович Набоков. Защита Лужина
От редактора
Защита Лужина
От автора
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Аннотация

«Защита Лужина» (1929) – вершинное достижение Владимира Набокова 20-х годов, его первая большая творческая удача, принесшая ему славу лучшего молодого писателя русской эмиграции. Показав, по словам Глеба Струве, «колдовское владение темой и материалом», Набоков этим романом открыл в русской литературе новую яркую страницу. Гениальный шахматист Александр Лужин, живущий скорее в мире своего отвлеченного и строгого искусства, чем в реальном Берлине, обнаруживает то, что можно назвать комбинаторным началом бытия. Безуспешно пытаясь разгадать «ходы судьбы» и прервать их зловещее повторение, он перестает понимать, где кончается игра и начинается сама жизнь, против неумолимых обстоятельств которой он беззащитен.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Владимир Владимирович Набоков
Защита Лужина

First published in 1930
Copyright © 1964, Vladimir Nabokov
All rights reserved
© А. Бабиков, редакторская заметка, примечания, 2021
© А. Бондаренко, Д. Черногаев, художественное оформление, макет, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2021
Издательство CORPUS ®

От редактора

Свой третий, получивший всеобщее признание роман Владимир Набоков начал писать на юге Франции, в Восточных Пиренеях, зимой 1929 г., и закончил в Берлине в августе того же года. Внутренний источник замысла книги о гениальном русском шахматисте обнаруживается в большой сказочной поэме Набокова 1923 г. «Солнечный сон», впервые опубликованной лишь в 2019 г., — победившему в шахматном состязании Ивейну открывается иная форма реальности, постепенно завладевающая его сознанием. Год спустя Набоков сочинил рассказ «Бахман», герой которого, полубезумный немецкий композитор и пианист, послужил новым эскизом к образу Лужина.

26 июля 1929 г. Вера Набокова писала Елене Ивановне Набоковой о новой книге ее сына, еще не сообщая ее названия: «<…> Володя много и изумительно работает. Уже около половины написал. Эта вещь не похожа ни на одну из предыдущих, все новое: стиль, тема, обработка. Таких вообще еще русская литература не видала». Всего три недели спустя, 15 августа, Набоков писал

матери: «Кончаю, кончаю… Через три-четыре дня поставлю точку. Долго потом не буду браться за такие чудовищно трудные темы, а напишу что-нибудь тихое, плавное. Все же я доволен моим Лужиным, — но какая сложная, сложная махина. <…> Устала немного голова. Пора, пора Лужина убить и труп сдать Ульштейну, авось купит он его для дисекции, для перевода».

Роман был напечатан в парижском журнале «Современные записки» в 1929–1930 гг., отрывки печатались в эмигрантских газетах «Руль» и «Последние новости». Отдельным изданием «Защита Лужина» вышла в берлинском издательстве «Слово» (1930). Выход немецкого перевода в издательстве «Ульштейн», о котором Набоков писал матери, не состоялся из-за начавшегося в Германии экономического кризиса.

В 1934 г. в парижском издательстве «A. Fayard & Cie» вышел французский перевод «Защиты Лужина» под изобретательным названием «La course du fou» («course» может означать и гонку, и шахматный ход, а «fou» — не только безумца, но и шахматного слона), подготовленный Дени Рош при участии автора. На английский язык роман перевел Майкл Скэммелл, также с участием автора, в 1962–1963 гг. До книжного издания

романа под названием «The Defense» («Защита», в Великобритании — «The Defence») в 1964 г. в издательстве «G. P. Putnam's Sons», он был полностью опубликован в двух номерах журнала «New Yorker». В 1967 г. состоялось русское переиздание романа под маркой фиктивного парижского издательства «Editions de la Seine», с предисловием одного из лучших эмигрантских критиков Г. В. Адамовича и с русским переводом английского предисловия автора. В своем предисловии Адамович отметил:

> Набоков – единственный большой русский писатель нашего столетия, органически сроднившийся с Западом и новой западной культурой. Из своего поколения он единственный, кто на Западе не только широко известен, но и признан выдающимся, оригинальнейшим художником. Положение его в литературе русской, место, которое ему надо в ней отвести, определить труднее, хотя и невозможно было бы отрицать, что по блеску и силе дарования у него среди русских романистов нашего времени нет соперников.

Издание 1967 г., не вполне последовательно подготовленное по правилам пореформенной орфографии, было выпущено по правительственной программе США с целью распространения в Советском Союзе произведений запрещенных на его территории авторов. Печатается по этому изданию с исправлением опечаток и с приведением написания некоторых слов к современным нормам.

Защита Лужина

От автора[1]

Русское заглавие этого романа — «Защита Лужина»: оно относится к шахматной защите, будто бы придуманной моим героем гроссмейстером Лужиным. Я начал писать этот роман весной 1929 года, в Ле-Булу (Le Boulou) — маленьком курорте в Восточных Пиренеях, где я ловил бабочек, — и окончил его в том же году в Берлине. Я помню с особой ясностью отлогую плиту скалы среди поросших остролистом и утесником холмов, где мне впервые явилась основная тема книги. К этому можно было бы добавить несколько любопытных подробностей, если бы я серьезно относился к самому себе.

«Защита Лужина», под псевдонимом «В. Сирин», печаталась в русском зарубежном журнале «Современные записки» в Париже, и тотчас вслед

---

[1] Примечания: 1

Настоящее предисловие было опубликовано в парижском издании романа 1967 г. (Edition de la Seine) со следующим примечанием: ««“Защита Лужина” была издана в английском переводе в 1964 году в Нью-Йорке и Лондоне под более кратким заглавием “The Defence” (“Защита”). Нижеследующее предисловие написано В. Набоковым для американского и английского издания» (с. 17). Согласно изысканиям М. Джулиара, перевод предисловия на русский язык подготовил Арнольд Самсонович Блох при участии автора. (*Здесь и далее — прим. ред.*)

за этим вышла отдельной книгой в зарубежном русском издательстве «Слово» (Берлин, 1930). Брошюрованная — 234 стр., размером в 21 на 14 см — в матово-черной с золотым тисненым шрифтом обложке, книга эта теперь стала редкостью и, может быть, станет в дальнейшем еще более редкой.

Бедному Лужину пришлось ждать тридцать пять лет издания на английском языке. Что-то, правда, обещающе зашевелилось в конце тридцатых годов, когда один американский издатель выказал интерес; но оказалось, что он принадлежит к тому типу издателей, которые мечтают служить мужского пола музой издаваемому ими автору, и его предложение, чтобы я заменил шахматы музыкой, а из Лужина сделал сумасшедшего скрипача, сразу же положило конец нашему краткому сотрудничеству.

Перечитывая теперь этот роман, вновь разыгрывая ходы его фабулы, я испытываю чувство схожее с тем, что испытывал бы Андерсен, с нежностью вспоминая, как пожертвовал обе ладьи несчастливому, благородному Кизерицкому — который обречен вновь и вновь принимать эту жертву в бесчисленном множестве шахматных руководств, с вопросительным знаком в

качестве памятника[2]. Сочинять книгу было нелегко, но мне доставляло большое удовольствие пользоваться теми или другими образами и положениями, дабы ввести роковое предначертание в жизнь Лужина и придать описанию сада, поездки, череды обиходных событий подобие тонко-замысловатой игры, — а в конечных главах настоящей шахматной атаки, разрушающей до основания душевное здоровье моего бедного героя.

Тут, кстати, чтоб сберечь время и силы присяжных рецензентов — и вообще лиц, которые, читая, шевелят губами и от которых нельзя ждать, чтоб они занялись романом, в котором нет диалогов, когда столько может быть почерпнуто из предисловия к нему, — я хотел бы обратить их внимание на первое появление, уже в одиннадцатой главе, мотива матового («будто подернутого морозом») оконного стекла (связанного с самоубийством или, скорее, обратным матом, самому себе поставленным Лужиным); или на то, как трогательно мой пасмурный гроссмейстер вспоминает о своих поездках по профессиональной

[2] Примечания: 2

Имеется в виду знаменитая партия, получившая в шахматной литературе название «бессмертной», сыгранная 21 июня 1851 г. в Лондоне Адольфом Андерсеном (белые) и Лионелем Кизерицким (черные).

надобности: не в виде солнечно-красочных багажных ярлыков или диапозитивов волшебного фонаря, а в виде кафельных плит в разных отельных ванных и уборных — как, например, тот пол в белых и голубых квадратах, где, с высоты своего трона, он нашел и проверил воображаемые продолжения начатой турнирной партии; или раздражительно асимметрический — именуемый в продаже «агатовым» — узор, в котором три арлекиново-пестрых краски зигзагом — как ход коня — там и сям прерывают нейтральный тон правильно в остальной части разграфленного линолеума, стелющегося между нашим роденовским «Мыслителем» и дверью; или крупные глянцевито-черные и желтые прямоугольники с линией «h»[3], мучительно отрезанной охряной вертикалью горячей водопроводной трубы; или тот роскошный ватерклозет, в прелестной мраморной мозаике которого он узнал смутный, но полностью сохраненный очерк точно того положения, над которым, подперев кулаком подбородок, он раздумывал однажды ночью много лет тому назад. Но шахматные образы, вкрапленные мной, различимы не только в от-

[3] Примечания: 3

Латинские буквы, от «a» до «h», используются для нумерации на шахматной доске.

дельных сценах; связь их звеньев может быть усмотрена и в основной структуре этого симпатичного романа. Так, к концу четвертой главы, я делаю непредвиденный ход в углу доски, за один абзац проходит шестнадцать лет, и Лужин, вдруг ставший зрелым и довольно потрепанным господином, перенесенным в немецкий курорт, является нам сидящим за садовым столиком и указывающим тростью на запомнившееся ему отельное окно (не последний стеклянный квадрат в его жизни), обращающимся к кому-то (даме, судя по сумочке на железном столике), кого мы встретим только в шестой главе. Тема возвращения в прошлое, начавшаяся в четвертой главе, теперь незаметно переходит в образ покойного Лужинова отца, к прошлому которого мы обращаемся в пятой главе, где он, в свою очередь, вспоминает зарю шахматной карьеры сына, стилизуя ее в уме, дабы сделать из нее чувствительную повесть для юношества. Мы переносимся назад к кургаузу[4] в главе шестой и застаем Лужина все еще играющим дамской сумочкой, обращаясь все так же к своей дымчатой собеседнице, которая тут же выходит из дымки,

[4] Примечания: 4

Устаревшее название курзала — помещения на курорте, предназначенного для собраний, концертов и т. п.

отнимает у него сумку, упоминает о смерти Лужина-старшего и становится отчетливой частью общего узора. Весь последовательный ряд ходов в этих трех центральных главах напоминает — или должен бы напоминать — известный тип шахматной задачи, где дело не просто в том, чтобы найти мат во столько-то ходов, а в так называемом «ретроградном анализе», в котором от решающего задачу требуется доказать — путем обращенного вспять изучения диаграммы, — что последний ход черных не мог быть рокировкой или должен был быть взятием белой пешки «на проходе».

Незачем распространяться в этом предисловии самого общего порядка о более сложном аспекте моих шахматных фигур и линий развития игры. Однако надо сказать следующее. Из всех моих написанных по-русски книг «Защита Лужина» заключает и излучает больше всего «тепла», — что может показаться странным, если принять во внимание, до какой степени шахматная игра почитается отвлеченной. Так или иначе, именно Лужин полюбился даже тем, кто ничего не смыслит в шахматах или попросту терпеть не может всех других моих книг. Он неуклюж, неопрятен, непривлекателен, но — как сразу замечает моя

милая барышня (сама по себе очаровательная) — есть что-то в нем, что возвышается и над серой шершавостью его внешнего облика, и над бесплодностью его загадочного гения.

В предисловиях, которые я писал последнее время для изданий моих русских романов на английском языке (предстоят еще и другие), я поставил себе за правило обращаться с несколькими словами поощрения по адресу венской делегации. Настоящее предисловие не должно составить исключение. Специалистам по психоанализу и их пациентам придутся, я надеюсь, по вкусу некоторые детали лечения, которому подвергается Лужин после своего нервного заболевания (как, например, целительный намек на то, что шахматный игрок видит в своей королеве собственную мамашу, а в короле противника — своего папашу); малолетний же фрейдианец, принимающий замочную отмычку за ключ к роману, будет, конечно, все так же отождествлять персонажей книги с моими родителями, возлюбленными, со мной самим и серийными моими отражениями, — в его, основанном на комиксах, представлении о них и обо мне. На радость таким ищейкам я могу еще признаться, что дал Лужину мою французскую гувернантку, мои карманные шахматы, мой кроткий нрав и косточку от персика, который я сорвал в моем обнесенном стеной саду.

В. Набоков
Монтре, 15 дек. 1963

1

Больше всего его поразило то, что с понедельника он будет Лужиным. Его отец — настоящий Лужин, пожилой Лужин, Лужин, писавший книги, — вышел от него, улыбаясь, потирая руки, уже смазанные на ночь прозрачным английским кремом, и своей вечерней замшевой походкой вернулся к себе в спальню. Жена лежала в постели. Она приподнялась и спросила: «Ну что, как?» Он снял свой серый халат и ответил: «Обошлось. Принял спокойно. Ух… Прямо гора с плеч». — «Как хорошо… — сказала жена, медленно натягивая на себя шелковое одеяло. — Слава Богу, слава Богу…»

Это было и впрямь облегчение. Все лето — быстрое дачное лето, состоящее в общем из трех запахов: сирень, сенокос, сухие листья, — все лето они обсуждали вопрос, когда и как перед ним открыться, и откладывали, откладывали, дотянули до конца августа. Они ходили вокруг него, с опаской суживая круги, но только он поднимал голову, отец с напускным интересом уже стучал по стеклу барометра, где стрелка всегда стояла на шторме, а мать уплывала куда-то в глубь

дома, оставляя все двери открытыми, забывая длинный, неряшливый букет колокольчиков на крышке рояля. Тучная француженка, читавшая ему вслух «Монтекристо» и прерывавшая чтение, чтобы с чувством воскликнуть: «Бедный, бедный Дантес!», предлагала его родителям, что сама возьмет быка за рога, хотя быка этого смертельно боялась. Бедный, бедный Дантес не возбуждал в нем участия, и, наблюдая ее воспитательный вздох, он только щурился и терзал резинкой ватманскую бумагу, стараясь поужаснее нарисовать выпуклость ее бюста.

Через много лет, в неожиданный год просветления, очарования, он с обморочным восторгом вспомнил эти часы чтения на веранде, плывущей под шум сада. Воспоминание пропитано было солнцем и сладко-чернильным вкусом тех лакричных палочек, которые она дробила ударами перочинного ножа и убеждала держать под языком. И обойные гвоздики, которые он однажды положил на плетеное сиденье кресла, предназначенного принять с рассыпчатым потрескиванием ее грузный круп, были в его воспоминании равноценны и солнцу, и шуму сада, и комару, который, присосавшись к его ободранному колену, поднимал в блаженстве рубиновое

брюшко. Хорошо, подробно знает десятилетний мальчик свои коленки, — расчесанный до крови волдырь, белые следы ногтей на загорелой коже, и все те царапины, которыми расписываются песчинки, камушки, острые прутики. Комар улетал, избежав хлопка, француженка просила не егозить; с остервенением, скаля неровные зубы — которые столичный дантист обхватил платиновой проволокой, — нагнув голову с завитком на макушке, он чесал, скреб всей пятерней укушенное место, — и медленно, с возрастающим ужасом, француженка тянулась к открытой рисовальной тетради, к невероятной карикатуре.

«Нет, я лучше сам ему скажу, — неуверенно ответил Лужин-старший на ее предложение. — Скажу ему погодя, пускай он спокойно пишет у меня диктовки». «Это ложь, что в театре нет лож, — мерно диктовал он, гуляя взад и вперед по классной. — Это ложь, что в театре нет лож». И сын писал, почти лежа на столе, скаля зубы в металлических лесах, и оставлял просто пустые места на словах «ложь» и «лож». Лучше шла арифметика: была таинственная сладость в том, что длинное, с трудом добытое число, в решительный миг, после многих приключений, без остатка делится на девятнадцать.

Он боялся, Лужин-старший, что, когда сын узнает, зачем так нужны были совершенно безликие Трувор и Синеус, и таблица слов, требующих «ять», и главнейшие русские реки, с ним случится то же, что два года назад, когда, медленно и тяжко, при звуке скрипевших ступеней, стрелявших половиц, передвигаемых сундуков, наполнив собою весь дом, появилась француженка. Но ничего такого не случилось, он слушал спокойно, и когда отец, старавшийся подбирать любопытнейшие, привлекательнейшие подробности, сказал, между прочим, что его, как взрослого, будут звать по фамилии, сын покраснел, заморгал, откинулся навзничь на подушку, открывая рот и мотая головой («Не ерзай так», — опасливо сказал отец, заметив его смущение и ожидая слез), но не расплакался, а вместо этого весь как-то надулся, зарыл лицо в подушку, пукая в нее губами, и вдруг, быстро привстав, — трепаный, теплый, с блестящими глазами, — спросил скороговоркой, будут ли и дома звать его Лужиным.

И теперь, по дороге на станцию, в пасмурный, напряженный день, Лужин-старший, сидя рядом с женой в коляске, смотрел на сына, готовый тотчас же улыбнуться, если тот повернет к нему упрямо отклоненное лицо, и недоумевал, с чего

это он вдруг стал «крепенький», как выражалась жена. Сын сидел на передней скамеечке, закутанный в бурый лоден[5], в матросской шапке, надетой криво, но которую никто на свете сейчас не посмел бы поправить, и глядел в сторону, на толстые стволы берез, которые, крутясь, шли мимо, вдоль канавы, полной их листьев. «Тебе не холодно?» — спросила мать, когда, на повороте к мосту, хлынул ветер, отчего побежала пушистая рябь по серому птичьему крылу на ее шляпе. «Холодно», — сказал сын, глядя на реку. Мать, с мурлыкающим звуком, потянулась было к его плащику, но, заметив выражение его глаз, отдернула руку и только показала перебором пальцев по воздуху: «Завернись, завернись поплотнее». Сын не шевельнулся. Она, пуча губы, чтобы отлепилась вуалетка ото рта, — постоянное движение, почти тик, — посмотрела на мужа, молча прося содействия. Он тоже был в плаще-лодене, руки в плотных перчатках лежали на клетчатом пледе, который полого спускался и, образовав долину, чуть-чуть поднимался опять, до поясницы маленького Лужина. «Лужин, — сказал он с деланой веселостью, — а, Лужин?» — и под пледом мягко

[5] Примечания: 5

Плотная валяная шерстяная ткань тоньше сукна. Здесь имеется в виду свободный плащ, напоминающий накидку.

толкнул сына ногой. Лужин подобрал коленки. Вот крыши изб, густо поросшие ярким мхом, вот знакомый старый столб с полустертой надписью (название деревни и число душ), вот журавль, ведро, черная грязь, белоногая баба. За деревней поехали шагом в гору, и сзади, внизу, появилась вторая коляска, где тесно сидели француженка и экономка, ненавидевшие друг дружку. Кучер чмокнул, лошади опять пустились рысью. Над жнивьем по бесцветному небу медленно летела ворона.

Станция находилась в двух верстах от усадьбы, там, где дорога, гулко и гладко пройдя сквозь еловый бор, пересекала петербургское шоссе и текла дальше, через рельсы, под шлагбаум, в неизвестность. «Если хочешь, пусти марионеток», — льстиво сказал Лужин-старший, когда сын выпрыгнул из коляски и уставился в землю, поводя шеей, которую щипала шерсть лодена. Сын молча взял протянутый гривенник. Из второй коляски грузно выползали француженка и экономка, одна вправо, другая влево. Отец снимал перчатки. Мать, оттягивая вуаль, следила за грудастым носильщиком, забиравшим пледы. Прошел ветер, поднял гривы лошадей, надул малиновые рукава кучера.

Оказавшись один на платформе, Лужин пошел к стеклянному ящику, где пять куколок с голыми висячими ножками ждали, чтобы ожить и завертеться, толчка монеты; но это ожидание было сегодня напрасно, так как автомат оказался испорченным, и гривенник пропал даром. Лужин подождал, потом отвернулся и подошел к краю платформы. Справа, на огромном тюке, сидела девочка и, подперев ладонью локоть, ела зеленое яблоко. Слева стоял человек в крагах, со стеком[6] в руках, и глядел вдаль, на опушку леса, из-за которого через несколько минут появится предвестник поезда — белый дымок. Спереди, по ту сторону рельс, около бесколесного желтого вагона второго класса, вросшего в землю и превращенного в постоянное человеческое жилье, мужик колол дрова. Вдруг туман слёз скрыл все это, обожгло ресницы, невозможно перенести то, что сейчас будет, — отец с веером билетов в руке, мать, считающая глазами чемоданы, влетающий поезд, носильщик, приставляющий лесенку к площадке вагона, чтобы удобнее было подняться. Он оглянулся. Девочка ела яблоко; человек в крагах смотрел вдаль; все было спокойно. Он

[6] Примечания: 6

Хлыст для верховой езды в виде тонкой палочки с ременной петлей на конце.

дошел, словно гуляя, до конца платформы и вдруг задвигался очень быстро, сбежал по ступеням — битая тропинка, садик начальника станции, забор, калитка, елки, — дальше овражек и сразу густой лес.

Сначала он бежал прямо лесом, шурша в папоротнике, скользя на красноватых ландышевых листьях, — и шапка висела сзади на шее, придержанная только резинкой, коленям в шерстяных, уже городских чулках было жарко, — он плакал на бегу, по-детски картаво чертыхаясь, когда ветка хлестала по лбу, — и наконец остановился, присел, запыхавшись, на корточки, так что лоден покрыл ему ноги.

Только сегодня, в день переезда из деревни в город, в день, сам по себе не сладкий, когда дом полон сквозняков и так завидуешь садовнику, который никуда не едет, только сегодня он понял весь ужас перемены, о которой ему говорил отец. Прежние осенние возвращения в город показались счастьем. Ежедневная утренняя прогулка с француженкой — всегда по одним и тем же улицам, по Невскому и кругом, через Набережную, домой, — никогда не повторится. Счастливая прогулка. Иногда ему предлагали начать с Набережной, но он всегда отказывался — не столько

потому, что с раннего детства любил привычку, сколько потому, что нестерпимо боялся петропавловской пушки, громового, тяжкого удара, от которого дрожали стекла домов и могла лопнуть перепонка в ухе, — и всегда устраивался так (путем незаметных маневров), чтобы в двенадцать часов быть на Невском, подальше от пушки, — выстрел которой настиг бы его у самого дворца, если бы изменился порядок прогулки. Кончено также приятное раздумье после завтрака, на диване, под тигровым одеялом, и ровно в два — молоко в серебряной чашке, придающей молоку такой драгоценный вкус, и ровно в три — катание в открытом ландо. Взамен всего этого было нечто, отвратительное своей новизной и неизвестностью, невозможный, неприемлемый мир, где будет пять уроков подряд и толпа мальчиков, еще более страшных, чем те, которые недавно, в июльский день, на мосту, окружили его, навели жестяные пистолеты, пальнули в него палочками, с которых коварно были сдернуты резиновые наконечники.

В лесу было тихо и сыро. Наплакавшись вдоволь, он поиграл с жуком, нервно поводившим усами, и потом долго его давил камнем, стараясь повторить первоначальный сдобный хруст. По-

годя он заметил, что заморосило. Тогда он встал с земли, нашел знакомую тропинку и побежал, спотыкаясь о корни, со смутной, мстительной мыслью добраться до дому и там спрятаться, провести там зиму, питаясь в кладовой вареньем и сыром. Тропинка, минут десять поюлив в лесу, спустилась к реке, которая была сплошь в кольцах от дождя, и еще через пять минут показался лесопильный завод, мельница, мост, где по щиколку утопаешь в опилках, и дорожка вверх, и через голые кусты сирени — дом. Он прокрался вдоль стены, увидел, что окно гостиной открыто, и, взобравшись около водосточной трубы на зеленый облупленный карниз, перевалился через подоконник. В гостиной он остановился, прислушался. Дагерротип деда, отца матери, — черные баки, скрипка в руках, — смотрел на него в упор, но совершенно исчез, растворился в стекле, как только он посмотрел на портрет сбоку, — печальная забава, которую он никогда не пропускал, входя в гостиную. Подумав, подвигав верхней губой, отчего платиновая проволока на передних зубах свободно ездила вверх и вниз, он осторожно открыл дверь и, вздрагивая от звонкого эха, слишком поспешно после отъезда хозяев вселившегося в дом, метнулся по коридору и оттуда, по

лестнице, на чердак. Чердак был особенный, с оконцем, через которое можно было смотреть вниз, на лестницу, на коричневый блеск ее перил, плавно изгибавшихся пониже, терявшихся в тумане. В доме было совершенно тихо. Погодя, снизу, из кабинета отца, донесся заглушенный звон телефона. Звон продолжался с перерывами довольно долго. Потом опять тишина.

Он устроился на ящике. Рядом был такой же ящик, но открытый, и в нем были книги. Дамский велосипед с рваной зеленой сеткой, натянутой вдоль заднего колеса, стоял на голове в углу, между необструганной доской, прислоненной к стене, и огромным баулом. Через несколько минут Лужину стало скучно, как когда горло обвязано фланелью и нельзя выходить. Он потрогал пыльные, серые книги в ящике, оставляя на них черные отпечатки. Кроме книг, был волан с одним пером, большая фотография (военный оркестр), шахматная доска с трещиной и прочие не очень занимательные вещи.

Так прошел час. Он услышал вдруг шум голосов, воющий звук парадной двери и, осторожно выглянув в окошечко, увидел внизу отца, который, как мальчик, взбегал по лестнице и, не добежав до площадки, опять проворно спустился,

двигая врозь коленями. Там, внизу, слышались теперь ясно голоса — буфетчика, кучера, сторожа. Через минуту лестница опять ожила, на этот раз быстро поднималась по ней мать, придерживая юбку, но тоже до площадки не дошла, а перегнулась через перила и потом, быстро, расставив руки, сошла вниз. Наконец, еще через минуту, все гурьбой поднялись наверх, — блестела лысина отца, птица на шляпе матери колебалась, как утка на бурном пруду, прыгал седой бобрик буфетчика; сзади, поминутно перегибаясь через перила, поднимались кучер, сторож и почему-то Акулина-молочница, да еще чернобородый мужик с мельницы, обитатель будущих кошмаров. Он-то, как самый сильный, и понес его с чердака до коляски.

2

Лужин-старший, Лужин, писавший книги, часто думал о том, что может выйти из его сына. В его книгах, — а все они, кроме забытого романа «Угар», были написаны для отроков, юношей, учеников среднеучебных заведений, и продавались в крепких, красочных переплетах, — постоянно мелькал образ белокурого мальчика, и взбалмошного, и задумчивого, который превращался в скрипача или живописца, не теряя при этом нравственной своей красоты. Едва уловимую особенность, отличавшую его сына от всех тех детей, которые, по его мнению, должны были стать людьми ничем не замечательными (если предположить, что существуют такие люди), он понимал как тайное волнение таланта и, твердо помня, что покойный тесть был композитором (довольно, впрочем, сухим и склонным, в зрелые годы, к сомнительному блистанию виртуозности), он не раз, в приятной мечте, похожей на литографию, спускался ночью со свечой в гостиную, где вундеркинд в белой рубашонке до пят играет на огромном черном рояле.

Ему казалось, что все должны видеть недю-

жинность его сына; ему казалось, что, быть может, люди со стороны лучше в ней разбираются, чем он сам. Школа, которую он для сына выбрал, особенно славилась внимательностью к так называемой «внутренней» жизни ученика, гуманностью, вдумчивостью, дружеским проникновением. Преданье говорило, что, в первое время ее существования, учителя в час большой перемены возились с ребятами: физик мял, глядя через плечо, комок снега, математик получал на бегу крепкий мячик в ребра, и сам директор веселым восклицанием поощрял игру. Таких общих игр теперь больше не было, но идиллическая слава осталась. Классным воспитателем сына был учитель словесности, добрый знакомый писателя Лужина и, кстати сказать, недурной лирический поэт, выпустивший сборник подражаний Анакреону. «Забредите, — сказал он в тот день, когда Лужин-старший в первый раз привел сына в школу. — В любой четверг, около двенадцати». Лужин забрел. На лестнице было пусто и тихо. Проходя через зал в учительскую, он услышал из второго класса глухой, многоголосый раскат смеха. Затем, в тишине, шаги его особенно звонко застучали по желтому паркету зала. В учительской у большого стола, покрытого сукном, напоминавшим об

экзаменах, сидел воспитатель и писал письмо.

С тех пор как его сын поступил в школу, он с воспитателем еще не говорил и теперь, спустя месяц являясь к нему, был полон щекочущего ожидания, некоторого волнения и робости — всех тех чувств, которые он некогда испытал, когда, юношей в студенческой форме, пришел к редактору, которому недавно послал первую свою повесть. И теперь, как и тогда, вместо слов изумления, которых он смутно ожидал (как, проснувшись в чужом городе, ожидаешь, еще не раскрыв век, необыкновенного, сияющего утра), вместо всех тех слов, которые он бы с такой охотой сам подсказал, если бы не надежда, что все-таки их дождется, — он услышал пасмурные, холодноватые слова, доказывавшие, что его сына воспитатель понимает еще меньше, чем он сам. О какой-либо тайной даровитости тот и не обмолвился. Наклонив бледное, бородатое лицо с двумя розовыми выемками по бокам носа, с которого он осторожно снял цепкое пенсне, вытирая глаза ладонью, воспитатель начал говорить первым, сказал, что мальчик мог бы учиться лучше, что мальчик, кажется, не ладит с товарищами, что мальчик мало бегает на переменах… «Способности у мальчика несомненно есть, — сказал воспи-

татель, покончив манипуляции с глазами, — но наблюдается некоторая вялость». В это мгновение где-то внизу родился звонок, перекинулся наверх, невыносимо пронзительно прошел по всему зданию. После этого были две-три секунды полнейшей тишины, — и вдруг все ожило, зашумело, захлопали крышки парт, зал наполнился говором, топотом. «Большая перемена, — сказал воспитатель. — Если хотите, сойдемте во двор, посмотрите, как резвятся ребята».

Они быстро съезжали по каменной лестнице, обняв балюстраду, скользя подошвами сандалий по отшлифованным краям ступеней. Внизу, в темной тесноте вешалок, переобувались; иные сидели на широких подоконниках, кряхтели, поспешно затягивая шнурки. Вдруг он увидел сына, который, сгорбившись, брезгливо вынимал сапоги из мешочка. Белобрысый мальчик второпях толкнул его, он посторонился и вдруг увидел отца. Отец улыбался ему, держа свой каракулевый колпак и ребром руки выдавливая необходимую бороздку. Лужин прищурился и отвернулся, словно отца не заметил. Присев на пол спиной к отцу, он завозился с сапогами; те, кто успел уже одеться, ступали через него, и он, после каждого толчка, все больше горбился, забивался

в сумрак. Когда он наконец вышел — в длинном сером пальто и каракулевом колпачке (который один и тот же детина постоянно с него смахивал), отец уже стоял у ворот, в том конце двора, и выжидательно смотрел в его сторону. Рядом стоял воспитатель, и когда серый резиновый мяч, которым играли в футбол, подкатился случайно к его ногам, учитель словесности, инстинктивно продолжая очаровательное предание, сделал вид, что хочет его пнуть, неловко потоптался, чуть не потерял галошу и рассмеялся с большим добродушием. Отец поддержал его за локоть, и Лужин-младший, улучив мгновение, вернулся в переднюю, где уже было совсем спокойно и, скрытый вешалками, блаженно зевал швейцар. Через дверное стекло, между чугунных лучей звездообразной решетки, он увидел, как отец вдруг снял перчатку, быстро попрощался с воспитателем и исчез под воротами. Только тогда он выполз опять и, осторожно обходя игравших, пробрался налево, под арку, где были сложены дрова. Там, подняв воротник, он сел на поленья.

Так он просидел около двухсот пятидесяти больших перемен, до того года, когда он был увезен за границу. Иногда воспитатель неожиданно появлялся из-за угла. «Что ж ты, Лужин,

все сидишь кучей? Побегал бы с товарищами». Лужин вставал с дров, выходил из-под арки в четырехугольный задний двор, делал несколько шагов, стараясь найти точку, равноотстоящую от тех трех его одноклассников, которые бывали особенно свирепы в этот час, шарахался от мяча, пущенного чьим-то звучным пинком, и, удостоверившись, что воспитатель далеко, возвращался к дровам. Он избрал это место в первый же день, в тот темный день, когда он почувствовал вокруг себя такую ненависть, такое глумливое любопытство, что глаза сами собой наливались горячей мутью, и все то, на что он глядел — по проклятой необходимости смотреть на что-нибудь, — подвергалось замысловатым оптическим метаморфозам. Страница в голубую клетку застилалась туманом; белые цифры на черной доске то суживались, то расплывались; как будто равномерно удаляясь, становился глуше и неразборчивее голос учителя, и сосед по парте, вкрадчивый изверг с пушком на щеках, тихо и удовлетворенно говорил: «Сейчас расплачется». Но он не расплакался ни разу, не расплакался даже тогда, когда в уборной, общими усилиями, пытались вогнуть его голову в низкую раковину, где застыли желтые пузыри. «Госпо-

да, — сказал воспитатель на одном из первых уроков, — ваш новый товарищ — сын писателя. Которого если вы еще не читали, то прочитайте». И крупными буквами он записал на доске, так нажимая, что из-под пальцев с хрустом крошился мел: «Приключения Антоши, изд. Сильвестрова». В течение двух-трех месяцев после этого Лужина звали Антошей. Изверг с таинственным видом принес в класс книжку и во время урока исподтишка показывал ее другим, многозначительно косясь на Лужина, — а когда урок кончился, стал читать вслух из середины, нарочито коверкая слова. Петрищев, смотревший через его плечо, хотел задержать страницу, и она порвалась. Кребс сказал скороговоркой: «Мой папа говорит, что это писатель очень второго сорта». Громов крикнул: «Пусть Антоша нам вслух почитает!» — «А мы лучше каждому по кусочку дадим», — со смаком сказал шут класса, после бурной схватки завладевший красно-золотой нарядной книжкой. Страницы рассыпались по всему классу. На одной была картинка — ясноокий гимназист на углу улицы кормит своим завтраком облезлую собаку. На следующий день Лужин нашел ее аккуратно прибитой кнопками к внутренней стороне партовой крышки.

Скоро, впрочем, его оставили в покое, только изредка вспыхивала глупая кличка, но так как он упорно на нее не отзывался, то и она наконец погасла. Лужина перестали замечать, с ним не говорили, и даже единственный тихоня в классе (какой бывает в каждом классе, как бывает непременно толстяк, силач, остряк) сторонился его, боясь разделить его презренное положение. Этот же тихоня, получивший лет шесть спустя Георгиевский крест за опаснейшую разведку, а затем потерявший руку в пору гражданских войн, стараясь вспомнить (в двадцатых годах сего века), каким был в школе Лужин, не мог себе его представить иначе как со спины, то сидящего перед ним в классе, с растопыренными ушами, то уходящего в конец зала, подальше от шума, то уезжающего домой на извозчике — руки в карманах, большой пегий ранец на спине, валит снег… Он старался забежать вперед, заглянуть ему в лицо, но тот особый снег забвения, снег безмолвный и обильный, сплошной белой мутью застилал воспоминание. И бывший тихоня, теперь беспокойный эмигрант, говорил, глядя на портрет в газете: «Представьте себе, совершенно не помню его лица… Ну совершенно не помню…»

Но Лужин-старший, около четырех посматри-

вавший в окно, видел приближавшиеся сани и лицо сына, как бледное пятнышко. Сын обычно сразу входил к нему в кабинет, целовал воздух, прикоснувшись щекой к его щеке, и сразу поворачивался. «Постой, — говорил отец, — постой. Расскажи, что было сегодня. Вызывали?»

Он жадно смотрел на сына, который отклонял лицо, и ему хотелось взять его за плечи, встряхнуть его, крепко поцеловать в бледную щеку, в глаза, в нежный впалый висок. От маленького Лужина в ту первую школьную зиму трогательно пахло чесноком из-за впрыскиваний мышьяка, прописанных доктором. Платиновую полоску ему сняли, но он, по привычке, продолжал скалиться, подворачивать верхнюю губу. Он был одет в серый английский костюмчик — хлястик сзади, короткие штаны с пуговками пониже колен. Он стоял у письменного стола, балансируя на одной ноге, и отец ничего не смел против его непроницаемой хмурости. Сын уходил, волоча ранец по ковру; Лужин-старший облокачивался на стол, где, в синих школьных тетрадках (прихоть, которую, быть может, оценит будущий биограф), он писал очередную повесть, и прислушивался к монологу в соседней столовой, к голосу жены, уговаривающей тишину выпить какао. «Страшная

тишина, — думал Лужин-старший. — Он нездоров, у него какая-то тяжелая душевная жизнь… пожалуй, не следовало отдавать в школу. Но зато нужно же ему привыкнуть к обществу других мальчуганов… Загадка, загадка…»

«Съешь хоть кекса», — горестно продолжал голос за стеной, — и опять тишина. Но изредка происходило ужасное: вдруг, ни с того ни с сего, раздавался другой голос, визжащий и хриплый, и, как от ураганного ветра, хлопала дверь. Тогда он вскакивал, вбегал в столовую, держа в руке перо, как стрелу. Жена дрожащими руками подбирала со скатерти опрокинутую чашку, блюдечко, смотрела, нет ли трещин. «Я его расспрашивала о школе, — говорила она, не глядя на мужа, — он не хотел отвечать, — а потом, вот… как бешеный…» Они оба прислушивались. Француженка уехала осенью в Париж, и теперь уже никто не знал, что он там делает у себя в комнате. Там обои были белые, а повыше шла голубая полоса, по которой нарисованы были серые гуси и рыжие щенки. Гусь шел на щенка, и опять то же самое, тридцать восемь раз вокруг всей комнаты. На этажерке стоял глобус и чучело белки, купленное когда-то на Вербе. Зеленый паровоз выглядывал из-под воланов кресла. Хорошая была комната, светлая.

Веселые обои, веселые вещи.

Были и книги. Книги, сочиненные отцом, в золото-красных, рельефных обложках, с надписью от руки на первой странице: «Горячо надеюсь, что мой сын всегда будет относиться к животным и людям так, как Антоша», — и большой восклицательный знак. Или: «Эту книгу я писал, думая о твоем будущем, мой сын». Эти надписи вызывали в нем смутный стыд за отца, а самые книжки были столь же скучны, как «Слепой музыкант» или «Фрегат “Паллада”». Большой том Пушкина, с портретом толстогубого курчавого мальчика, не открывался никогда. Зато были две книги — обе подаренные ему тетей, — которые он полюбил на всю жизнь, держал в памяти, словно под увеличительным стеклом, и так страстно пережил, что через двадцать лет, снова их перечитав, он увидел в них только суховатый пересказ, сокращенное издание, как будто они отстали от того неповторимого, бессмертного образа, который они в нем оставили. Но не жажда дальних странствий заставляла его следовать по пятам Филеаса Фогга и не ребячливая склонность к таинственным приключениям влекла его в

дом на Бэкер[7] стрит, где, впрыснув себе кокаину, мечтательно играл на скрипке долговязый сыщик с орлиным профилем. Только гораздо позже он сам себе уяснил, чем так волновали его эти две книги: правильно и безжалостно развивающийся узор, — Филеас, манекен в цилиндре, совершающий свой сложный изящный путь с оправданными жертвами, то на слоне, купленном за миллион, то на судне, которое нужно наполовину сжечь на топливо; и Шерлок, придавший логике прелесть грезы, Шерлок, составивший монографию о пепле всех видов сигар, и с этим пеплом, как с талисманом, пробирающийся сквозь хрустальный лабиринт возможных дедукций к единственному сияющему выводу. Фокусник, которого на Рождестве пригласили его родители, каким-то образом слил в себе на время Фогга и Хольмса, и странное наслаждение, испытанное им в тот день, сгладило все то неприятное, что сопровождало выступление фокусника. Так как просьбы, осторожные, редкие просьбы, «позвать твоих школьных друзей» не привели ни к чему, Лужин-старший, уверенный, что это будет и весело, и полезно, обратился к двум знакомым,

[7] Примечания: 7

В настоящем издании сохраняются особенности авторской транслитерации.

сыновья которых учились в той же школе, а кроме того, пригласил детей дальнего родственника, двух тихих, рыхлых мальчиков и бледную девочку с толстой черной косой. Все приглашенные мальчики были в матросских костюмах и пахли помадой. В двух из них маленький Лужин с ужасом узнал Берсенева и Розена из третьего класса, которые в школе были одеты неряшливо и вели себя бурно. «Ну вот, — радостно сказал Лужин-старший, держа сына за плечо (плечо медленно уходило из-под его ладони). — Теперь вас оставят одних, — познакомьтесь, поиграйте, — а потом позовут, будет сюрприз». Через полчаса он пошел их звать. В комнате было молчание. Девочка сидела в углу и перелистывала, ища картин, приложение к «Ниве». Берсенев и Розен сидели на диване со сконфуженными лицами, очень красные и напомаженные. Рыхлые племянники бродили по комнате, без любопытства рассматривая английские гравюры на стенах, глобус, белку, давно разбитый педометр, валявшийся на столе. Сам Лужин, тоже в матроске, с белой тесемкой и свистком на груди, сидел на венском стуле у окна и смотрел исподлобья, грызя ноготь большого пальца. Но фокусник все искупил, и даже когда на следующий день Берсенев и Ро-

зен, уже настоящие, отвратительные, подошли к нему в школьном зале, низко поклонились, а потом грубо расхохотались и в обнимку, шатаясь, быстро отошли, — даже и тогда эта насмешка не могла нарушить очарование. По его хмурой просьбе, — что бы он ни говорил теперь, брови у него мучительно сходились, — мать привезла ему из Гостиного двора большой ящик, выкрашенный под красное дерево, и учебник чудес, на обложке которого был господин с медалями на фраке, поднявший за уши кролика. В ящике были шкатулки с двойным дном, палочка, обклеенная звездистой бумагой, колода грубых карт, где фигурные были наполовину короли и валеты, а наполовину овцы в мундирах, складной цилиндр с отделениями, веревочка с двумя деревянными штучками на концах, назначение которых было неясно… И в кокетливых конвертиках были порошки, окрашивающие воду в синий, красный, зеленый цвет. Гораздо занимательнее оказалась книга, и Лужин без труда выучил несколько карточных фокусов, которые он часами показывал самому себе, стоя перед зеркалом. Он находил загадочное удовольствие, неясное обещание каких-то других, еще неведомых наслаждений в том, как хитро и точно складывался фокус, но

все же недоставало чего-то, он не мог уловить некоторую тайну, в которой, вероятно, был искушен фокусник, хвативший из воздуха рубль или вынимавший задуманную публикой семерку треф из уха смущенного Розена. Сложные приспособления, описанные в книге, его раздражали. Тайна, к которой он стремился, была простота, гармоническая простота, поражающая пуще самой сложной магии.

В письменном отзыве о его успехах, присланном на Рождестве, в отзыве весьма обстоятельном, где, под рубрикой «Общие замечания», пространно, с плеоназмами, говорилось о его вялости, апатии, сонливости, неповоротливости и где баллы были заменены наречиями, оказалось одно «неудовлетворительно» — по русскому языку — и несколько «едва удовлетворительно», — между прочим, по математике. Однако как раз в это время он необычайно увлекся сборником задач, «веселой математикой», как значилось в заглавии, причудливым поведением чисел, беззаконной игрой геометрических линий — всем тем, чего не было в школьном задачнике. Блаженство и ужас вызывало в нем скольжение наклонной линии вверх по другой, вертикальной, — в примере, указывавшем тайну

параллельности. Вертикальная была бесконечна, как всякая линия, и наклонная, тоже бесконечная, скользя по ней и поднимаясь все выше, обречена была двигаться вечно, соскользнуть ей было невозможно, и точка их пересечения, вместе с его душой, неслась вверх по бесконечной стезе. Но при помощи линейки он принуждал их расцепиться: просто чертил их заново, параллельно друг дружке, и чувствовал при этом, что там, в бесконечности, где он заставил наклонную соскочить, произошла немыслимая катастрофа, неизъяснимое чудо, и он подолгу замирал на этих небесах, где сходят с ума земные линии.

На время он нашел мнимое успокоение в складных картинах. Это были сперва простые, детские, состоявшие из больших кусков, вырезанных по краю круглыми зубцами, как бисквиты петибер, и сцеплявшихся так крепко, что, сложив картину, можно было поднимать, не ломая, целые части ее. Но в тот год английская мода изобрела складные картины для взрослых — «пузеля»[8], как называли их у Пето, — вырезанные крайне прихотливо: кусочки всех очертаний, от простого кружка (часть будущего голубого неба) до самых

[8] Примечания: 8
От *англ.* puzzle — головоломка.

затейливых форм, богатых углами, мысками, перешейками, хитрыми выступами, по которым никак нельзя было разобрать, куда они приладятся, — пополнят ли они пегую шкуру коровы, уже почти доделанной, является ли этот темный край на зеленом фоне тенью от посоха пастуха, чье ухо и часть темени ясно видны на более откровенном кусочке. И когда постепенно появлялся слева круп коровы, а справа, на зелени, рука с дудкой, и повыше небесной синевой ровно застраивалась пустота, и голубой кружок ладно входил в небосвод, — Лужин чувствовал удивительное волнение от точных сочетаний этих пестрых кусков, образующих в последний миг отчетливую картину. Были головоломки очень дорогие, состоявшие из нескольких тысяч частей; их приносила тетя, веселая, нежная, рыжеволосая тетя, — и он часами склонялся над ломберным столом в зале, проверяя глазами каждый зубчик раньше, чем попробовать, подходит ли он к выемке, и стараясь, по едва заметным приметам, определить заранее сущность картины. Из соседней комнаты, где шумели гости, тетя просила: «Ради Бога, не потеряй ничего!» Иногда входил отец, смотрел на кусочки, протягивал руку к столу, говорил: «Вот это, несомненно, должно сюда

лечь», и тогда Лужин, не оборачиваясь, бормотал: «Глупости, глупости, не мешайте», — и отец, осторожно прикоснувшись губами к его хохолку, уходил, — мимо позолоченных стульев, мимо обширного зеркала, мимо копии с купающейся Фрины, мимо рояля, большого безмолвного рояля, подкованного толстым стеклом и покрытого парчовой попоной.

3

Только в апреле, на пасхальных каникулах, наступил для Лужина тот неизбежный день, когда весь мир вдруг потух, как будто повернули выключатель, и только одно, посреди мрака, было ярко освещено, новорожденное чудо, блестящий островок, на котором обречена была сосредоточиться вся его жизнь. Счастье, за которое он уцепился, остановилось; апрельский этот день замер навеки, и где-то, в другой плоскости, продолжалось движение дней, городская весна, деревенское лето, — смутные потоки, едва касавшиеся его.

Началось это невинно. В годовщину смерти тестя Лужин-старший устроил у себя на квартире музыкальный вечер. Сам он в музыке разбирался мало, питал тайную, постыдную страсть к «Травиате», на концертах слушал рояль только в начале, а затем глядел, уже не слушая, на руки пианиста, отражавшиеся в черном лаке. Но музыкальный вечер с исполнением вещей покойного тестя пришлось устроить поневоле: уж слишком молчали газеты — забвение было полное, тяжкое, безнадежное, — и жена с дро-

жащей улыбкой повторяла, что это все интриги, интриги, интриги, что и при жизни завидовали дару ее отца, что теперь хотят замолчать его славу. В открытом черном платье, в чудесном бриллиантовом ошейнике, с постоянным выражением сонной ласковости на пухлом, белом лице, она принимала гостей тихо, без восклицаний, нашептывая что-то быстрое, нежное по звуку, и, втайне шалея от застенчивости, все время искала глазами мужа, который подвигался туда-сюда мелкими шажками, с выпирающим из жилета крахмальным панцирем, добродушный, осторожный, с первыми робкими потугами на маститость. «Опять вышла нагишом», — со вздохом сказал издатель художественного журнала, взглянув мимоходом на Фрину, которая, благодаря усиленному освещению, была особенно ярка. Тут маленький Лужин попался ему под ноги и был поглажен по голове. Лужин попятился. «Какой он у вас стал огромный», — сказал дамский голос сзади. Он спрятался за чей-то фрак. «Нет, позвольте, позвольте, — загремело над его головой. — Нельзя же предъявлять таких требований к нашей печати». Вовсе не огромный, а, напротив, очень маленький для своих лет, он ходил между гостей, стараясь найти тихое место. Иногда кто-

нибудь ловил его за плечо, спрашивал ерунду. В зале было тесно от золоченых стульев, которые поставили рядами. Кто-то осторожно вносил в дверь нотный пюпитр.

Незаметными переходами Лужин пробрался в отцовский кабинет, где было темно, и сел в угол, на оттоманку. Из далекой залы, через две комнаты, доносился нежный вой скрипки.

Он сонно слушал, обняв коленки и глядя на кисейный просвет меж неплотно задвинутых штор, в котором лиловатой белизной горел над улицей газовый фонарь. По потолку изредка таинственной дугой проходил легкий свет, и на письменном столе была блестящая точка — неизвестно что: блик ли в тяжелом хрустальном яйце или отражение в стекле фотографии. Он чуть было не задремал и вдруг вздрогнул оттого, что на столе зазвонил телефон, и сразу стало ясно, что блестящая точка — на телефонной вилке. Из столовой вошел буфетчик, включил на ходу свет, озаривший лишь письменный стол, приложил трубку к уху и, не заметив Лужина, опять вышел, осторожно положив трубку на кожаный бювар. Через минуту он вернулся, сопровождая господина, который, попав в круг света, схватил со стола трубку, другой рукой нащупал сзади себя спинку

кресла. Слуга прикрыл за собой дверь, заглушив далекий перелив музыки. «Я слушаю», — сказал господин. Лужин из темноты смотрел на него, боясь двинуться и смущенный тем, что совершенно чужой человек так удобно расселся у отцовского стола. «Нет, я уже отыграл», — сказал он, глядя вверх и что-то трогая на столе белой беспокойной рукой. Извозчик глухо процокал по торцам. «Вероятно», — сказал господин. Лужин видел его профиль, нос из слоновой кости, блестящие черные волосы, густую бровь. «Я, собственно говоря, не знаю, почему ты мне сюда звонишь, — тихо сказал он, продолжая теребить что-то на столе. — Если только для того, чтобы проверить…» «Чудачка», — рассмеялся он и стал равномерно покачивать ногой в лакированной туфле. Потом он очень ловко подложил трубку между ухом и плечом и, изредка отвечая «да», «нет», «может быть», взял в обе руки то, что он на столе потрагивал. Это был небольшой гладкий ящик, который на днях кто-то подарил отцу. Лужин еще не успел посмотреть, что внутри, и теперь с любопытством следил за руками господина. Но тот не сразу открыл ящик. «И я тоже, — сказал он. — Много раз, много раз. Спокойной ночи, девочка». Повесив трубку, он вздохнул и открыл ящик.

Однако он так повернулся, что из-за его черного плеча Лужин ничего не видел. Он осторожно подвинулся, но на пол соскользнула подушка, и господин быстро оглянулся. «Ты что тут делаешь? — спросил он, в темном углу разглядев Лужина. — Ай-ай, как нехорошо подслушивать!» Лужин молчал. «Как тебя зовут?» — дружелюбно спросил господин. Лужин сполз с дивана и подошел. В ящике тесно лежали резные фигуры. «Отличные шахматы, — сказал господин. — Папа играет?» — «Не знаю», — сказал Лужин. «А ты сам умеешь?» Лужин покачал головой. «Вот это напрасно. Надо научиться. Я в десять лет уже здорово играл. Тебе сколько?»

Осторожно открылась дверь. Вошел Лужин-старший — на цыпочках. Он приготовился к тому, что скрипач еще говорит по телефону, и думал очень деликатно прошептать: «Продолжайте, продолжайте, а когда кончите, публика очень просит еще чего-нибудь». «Продолжайте, продолжайте», — сказал он по инерции и, увидев сына, запнулся. «Нет, нет, уже готово, — ответил скрипач, вставая. — Отличные шахматы. Вы играете?» — «Неважно», — сказал Лужин-старший. («Ты что же тут делаешь? Иди тоже послушать музыку...») «Какая игра, какая игра, — сказал

скрипач, бережно закрывая ящик. — Комбинации как мелодии. Я, понимаете ли, просто слышу ходы». — «По-моему, для шахмат нужно иметь большие математические способности, — быстро сказал Лужин-старший. — У меня на этот счет… Вас ждут, маэстро». — «Я бы лучше партишку сыграл, — засмеялся скрипач, идя к двери. — Игра богов. Бесконечные возможности». — «Очень древнее изобретение, — сказал Лужин-старший и оглянулся на сына. — Ну, что же ты? Иди же!» Но Лужин, не доходя до залы, ухитрился застрять в столовой, где был накрыт стол с закусками. Там он взял тарелку с сандвичами и унес ее к себе в комнату. Он ел, раздеваясь, потом ел в постели. Когда он уже потушил, к нему заглянула мать, нагнулась над ним, блеснув в полутьме бриллиантами на шее. Он притворился, что спит. Она ушла и долго-долго, чтобы не стукнуть, закрывала дверь.

Он проснулся на следующее утро с чувством непонятного волнения. Было ярко, ветрено, мостовые отливали лиловым блеском; близ Дворцовой арки над улицей упруго надувалось огромное трехцветное полотно, сквозь которое тремя разными оттенками просвечивало небо. Как всегда в праздничные дни, он вышел гулять с

отцом, но это не были прежние детские прогулки: полуденная пушка уже не пугала, и невыносим был разговор отца, который, придравшись ко вчерашнему вечеру, намекал на то, что хорошо бы начать заниматься музыкой. За завтраком был последний остаток сливочной пасхи (приземистая пирамидка с сероватым налетом на круглой макушке) и еще непочатый кулич. Тетя, все та же милая рыжеволосая тетя, троюродная сестра матери, была весела чрезвычайно, кидалась крошками и рассказала, что Латам за двадцать пять рублей прокатит ее на своей «Антуанете», которая, впрочем, пятый день не может подняться, между тем как Вуазен летает как заводной, кругами, да притом так низко, что, когда он кренится над трибунами, видна даже вата в ушах у пилота. Лужин почему-то необыкновенно ясно запомнил это утро, этот завтрак, как запоминаешь день, предшествующий далекому пути. Отец говорил, что хорошо бы после завтрака поехать на острова, где поляны сплошь в анемонах, и, пока он говорил, тетя попала ему крошкой прямо в рот. Мать молчала, — и вдруг, после второго блюда, встала и, стараясь скрыть дрожащее лицо, повторяя шепотом, что «это ничего, ничего, сейчас пройдет», — поспешно вышла. Отец бросил

салфетку на стол и вышел тоже. Лужин никогда не узнал, что именно случилось, но, проходя с тетей по коридору, слышал из спальни матери тихое всхлипывание и увещевающий голос отца, который громко повторял слово «фантазия».

«Уйдем куда-нибудь», — зашептала тетя, красная, притихшая, с бегающими глазами, — и они оказались в кабинете, где над кожаным креслом проходил конус лучей, в котором вертелись пылинки. Она закурила, и в этих лучах мягко и призрачно закачались складки дыма. Это был единственный человек, в присутствии которого он не чувствовал себя стесненным, и сейчас было особенно хорошо: странное молчание в доме и как будто ожидание чего-то. «Ну, будем играть во что-нибудь, — поспешно сказала тетя и взяла его сзади за шею. — Какая у тебя тоненькая шея, одной рукой можно...» — «Ты в шахматы умеешь?» — вкрадчиво спросил Лужин и, высвободив голову, приятно потерся щекой об ее васильковый шелковый рукав. «Лучше в дураки», — сказала она рассеянно. Где-то хлопнула дверь. Она поморщилась и, повернув лицо в сторону звука, прислушалась. «Нет, я хочу в шахматы», — сказал Лужин. «Сложно, милый, сразу не научишь». Он пошел к письменному столу,

отыскал ящик, стоявший за портретом. Тетя встала, чтобы взять пепельницу, в раздумье напевая окончание какой-то своей мысли: «Это было бы ужасно, это было бы ужасно…» «Вот», — сказал Лужин и опустил ящик на низенький турецкий столик с инкрустациями. «Нужно еще доску, — сказала она. — И знаешь, я тебя лучше научу в поддавки, это проще». — «Нет, в шахматы», — сказал Лужин и развернул клеенчатую доску.

«Сперва расставим фигуры, — начала тетя со вздохом. — Здесь белые, там черные. Король и королева рядышком. Вот это — офицеры. Это — коньки. А это — пушки, по краям. Теперь…» Она вдруг замерла, держа фигуру на весу и глядя на дверь. «Постой, — сказала она беспокойно. — Я, кажется, забыла платок в столовой. Я сейчас приду». Она открыла дверь, но тотчас вернулась. «Пускай, — сказала она и опять села на свое место. — Нет, не расставляй без меня, ты напутаешь. Это называется — пешка. Теперь смотри, как они все двигаются. Конек, конечно, скачет». Лужин сидел на ковре, плечом касаясь ее колена, и глядел на ее руку в тонком платиновом браслете, которая поднимала и ставила фигуры. «Королева самая движущаяся», — сказал он с удовольствием и пальцем поправил фигуру, которая стояла не

совсем посреди квадрата. «А едят они так, — говорила тетя. — Как будто, понимаешь, вытесняют. А пешки так: бочком. Когда можно взять короля, это называется шах; когда ему некуда сунуться, это — мат. Ты должен, значит, взять моего короля, а я твоего. Видишь, как это все долго объяснять. Может быть, в другой раз сыграем, а?» — «Нет, сейчас», — сказал Лужин и вдруг поцеловал ее руку. «Ах ты, милый, — протянула тетя, — откуда такие нежности… Хороший ты все-таки мальчик». — «Пожалуйста, будем играть», — сказал Лужин и, пройдя по ковру на коленках, стал так перед столиком. Но она вдруг поднялась с места, да так резко, что задела юбкой доску и смахнула несколько фигур. В дверях стоял его отец.

«Уходи к себе», — сказал он, мельком взглянув на сына. Лужин, которого в первый раз в жизни выгоняли из комнаты, остался от удивления, как был, на коленях. «Ты слышал?» — сказал отец. Лужин сильно покраснел и стал искать на ковре упавшие фигуры. «Побыстрее», — сказал отец громовым голосом, каким он не говорил никогда. Тетя стала торопливо, кое-как, класть фигуры в ящик. Руки у нее дрожали. Одна пешка никак не хотела влезть. «Ну, бери, бери, — сказала она, — бери же!» Он медленно свернул клеенчатую доску

и, с темным от обиды лицом, взял ящик. Дверь он не мог прикрыть за собой, так как обе руки были заняты. Отец быстро шагнул и так грохнул дверью, что Лужин уронил доску, которая сразу развернулась; пришлось поставить на пол ящик и свертывать ее опять. За дверью, в кабинете, сперва было молчание, затем — скрип кресла, принявшего тяжесть, и прерывистый вопросительный шепот тети. Лужин брезгливо подумал, что нынче все в доме сошли с ума, и пошел к себе в комнату. Там он сразу расставил фигуры, как показывала тетя, долго смотрел на них, соображая что-то; после чего очень аккуратно сложил их в ящик. С этого дня шахматы остались у него, и отец долго не замечал их отсутствия. С этого дня появилась в его комнате обольстительная, таинственная игрушка, пользоваться которой он еще не умел. С этого дня тетя никогда больше не приходила к ним в гости.

Как-то, через несколько дней, между первым и третьим уроком оказалось пустое место: простудился учитель географии. Когда прошло минут пять после звонка и никто еще не входил, наступило такое предчувствие счастья, что, казалось, сердце не выдержит, если все-таки стеклянная дверь сейчас откроется и географ, по привычке

своей почти бегом, влетит в класс. Одному Лужину было все равно. Низко склонясь над партой, он чинил карандаш, стараясь сделать кончик острым как игла. Нарастал взволнованный шум. Счастье как будто должно было сбыться. Иногда, впрочем, бывали невыносимые разочарования: вместо заболевшего учителя вползал маленький, хищный математик и, беззвучно прикрыв дверь, со злорадной улыбкой начинал выбирать кусочки мела из желоба под черной доской. Но прошло полных десять минут, и никто не являлся. Шум разросся. Кто-то, от избытка счастья, хлопнул крышкой парты. Сразу из неизвестности возник воспитатель. «Совершенная тишина, — сказал он. — Чтоб была совершенная тишина. Валентин Иванович болен. Займитесь каким-нибудь делом. Но чтоб была совершенная тишина». Он ушел. За окном сияли большие, рыхлые облака, и что-то журчало, капало, попискивали воробьи. Блаженный час, очаровательный час. Лужин стал равнодушно чинить еще один карандаш. Громов рассказывал что-то хриплым голосом, со смаком произнося странные, непристойные словечки. Петрищев умолял всех объяснить ему, почему мы знаем, что они равняются двум прямым. И вдруг Лужин отчетливо услышал за своей

спиной особый, деревянно-рассыпчатый звук, от которого стало жарко и невпопад стукнуло сердце. Он осторожно обернулся. Кребс и единственный тихоня в классе проворно расставляли маленькие, легкие фигуры на трехвершковой шахматной доске. Доска была на скамье между ними. Они сидели очень неудобно, боком. Лужин, забыв дочинить карандаш, подошел. Игроки его не заметили. Тихоня, когда, много лет спустя, старался вспомнить своего однокашника, никогда не вспомнил этой случайной шахматной партии, сыгранной в пустой час. Путая даты, он извлекал из прошлого смутное впечатление о том, что Лужин когда-то кого-то в школе обыграл, чесалось что-то в памяти, но добраться было невозможно.

«Тура летит», — сказал Кребс. Лужин, следя за его рукой, с мгновенным паническим содроганием подумал, что тетя назвала ему не все фигуры. Но тура оказалась синонимом пушки. «Я просто не заметил», — сказал другой. «Бог с тобой, переиграй», — сказал Кребс.

С раздражающей завистью, с зудом неудовлетворенности глядел Лужин на их игру, стараясь понять, где же те стройные мелодии, о которых говорил музыкант, и неясно чувствуя, что каким-то образом он ее понимает лучше, чем эти

двое, хотя совершенно не знает, как она должна вестись, почему это хорошо, а то плохо, и как надобно поступать, чтобы без потерь проникнуть в лагерь чужого короля. И был один прием, очень ему понравившийся, забавный своей ладностью: фигура, которую Кребс назвал турой, и его же король вдруг перепрыгнули друг через друга. Он видел затем, как черный король, выйдя из-за своих пешек (одна была выбита, как зуб), стал растерянно шагать туда и сюда. «Шах, — говорил Кребс, — шах, — (и ужаленный король прыгал в сторону), — сюда не можешь, и сюда тоже не можешь. Шах, беру королеву, шах». Тут он сам прозевал фигуру и стал требовать ход обратно. Изверг класса одновременно щелкнул Лужина в затылок, а другой рукой сбил доску на пол. Второй раз Лужин замечал, что за валкая вещь шахматы.

И на следующее утро, еще лежа в постели, он принял неслыханное решение. В школу он обыкновенно ездил на извозчике, всегда, кстати сказать, старательно изучая номер, разделяя его особым образом, чтобы поудобнее упаковать его в памяти и вынуть его оттуда в целости, если будет нужно. Но сегодня он до школы не доехал, номера от волнения не запомнил и, боязливо озираясь,

вышел на Караванной, а оттуда, кружными путями, избегая школьного района, пробрался на Сергиевскую. По дороге ему попался как раз учитель географии, который, сморкаясь и харкая на ходу, огромными шагами, с портфелем под мышкой, несся по направлению к школе. Лужин так резко отвернулся, что тяжело звякнул таинственный предмет в ранце. Только когда учитель, как слепой ветер, промчался мимо, Лужин заметил, что стоит перед парикмахерской витриной и что завитые головы трех восковых дам с розовыми ноздрями в упор глядят на него. Он перевел дух и быстро пошел по мокрому тротуару, бессознательно стараясь делать такие шаги, чтобы каждый раз каблук попадал на границу плиты. Но плиты были все разной ширины, и это мешало ходьбе. Тогда он сошел на мостовую, чтобы избавиться от соблазна, пошел вдоль самой панели, по грязи. Наконец он завидел нужный ему дом, сливовый, с голыми стариками, напряженно поддерживающими балкон, и с расписными стеклами в парадных дверях. Он свернул в ворота, мимо убеленной голубями тумбы, и, прошмыгнув через двор, где двое с засученными рукавами мыли ослепительную коляску, поднялся по лестнице и позвонил. «Еще спят, — сказала горничная,

глядя на него с удивлением. — Побудьте, что ли, вот тут. Я им погодя доложу». Лужин деловито свалил ранец с плеч, положил его подле себя на стол, где была фарфоровая чернильница, бисером расшитый бювар и незнакомая фотография отца (в одной руке книга, палец другой прижат к виску), и от нечего делать стал считать, сколько разных красок на ковре. В этой комнате он побывал только однажды, — когда, по совету отца, отвез тете на Рождестве большую коробку шоколадных конфет, половину которых он съел сам, а остальные разложил так, чтобы не было заметно. Тетя еще недавно бывала у них ежедневно, а теперь перестала, и было что-то такое в воздухе, какой-то неуловимый запрет, который мешал дома об этом спрашивать. Насчитав девять оттенков, он перевел глаза на шелковую ширму, где вышиты были камыши и аисты. Только он стал соображать, есть ли такие же аисты и на другой стороне, как наконец вошла тетя — непричесанная, в цветистом халате, с рукавами как крылья. «Ты откуда? — воскликнула она. — А школа? Ах ты, смешной мальчик…»

Часа через два он вышел опять на улицу. Ранец, теперь пустой, был так легок, что прыгал на лопатках. Надо было как-нибудь провести время до

часа обычных возвращений. Он побрел в Таврический сад, и пустота в ранце постепенно стала его раздражать. Во-первых, то, что он из предосторожности оставил у тети, могло как-нибудь пропасть до следующего раза; во-вторых, оно бы пригодилось ему дома по вечерам. Он решил, что впредь будет поступать иначе.

«Семейные обстоятельства», — ответил он на следующий день воспитателю, который мимоходом понаведался, почему он не был в школе. В четверг он ушел из школы раньше и пропустил подряд три дня, после чего объяснил, что болело горло. В среду был рецидив. В субботу он опоздал на первый урок, хотя выехал из дома раньше обыкновенного. В воскресенье он поразил мать сообщением, что приглашен к товарищу, и отсутствовал часов пять. В среду распустили раньше (это был один из тех чудесных дней, голубых, пыльных, в самом конце апреля, когда уже роспуск так близок и такая одолевает лень), но вернулся-то он домой гораздо позже обычного. А потом была уже целая неделя отсутствия, — упоительная, одуряющая неделя. Воспитатель позвонил к нему на дом, узнать, что с ним. К телефону подошел отец.

Когда Лужин около четырех вернулся домой,

у отца было лицо серое, глаза выпученные, а мать точно лишилась языка, задыхалась, а потом стала странно хохотать, с завыванием, с криками. После минуты замешательства отец молча повел его в кабинет и, сложив руки на груди, попросил объяснить. Лужин, с тяжелым, драгоценным ранцем под мышкой, уставился в пол, соображая, способна ли тетя на предательство. «Изволь мне объяснить», — повторил отец. На предательство она не может быть способна, да и откуда ей узнать, что он попался. «Отказываешься?» — спросил отец. Кроме того, ей как будто даже нравилось, что он пропускает школу. «Ну, послушай, — сказал отец примирительно, — давай говорить как друзья». Лужин со вздохом сел на ручку кресла, продолжая глядеть в пол. «Как друзья, — еще примирительнее повторил отец. — Вот, значит, оказывается, что ты несколько раз пропускал школу. И вот, мне хотелось бы знать, где ты был, что делал. Я даже понимаю, что, например, прекрасная погода и тянет гулять». — «Да, тянет», — равнодушно сказал Лужин, которому становилось скучно. Отец захотел узнать, где он гулял и давно ли у него такая потребность гулять. Затем он упомянул о том, что у каждого человека есть долг, долг гражданина,

семьянина, солдата, а также школьника. Лужин зевнул. «Иди к себе», — безнадежно сказал отец и когда тот вышел, долго стоял посреди кабинета и с тупым ужасом смотрел на дверь. Жена, слушавшая из соседней комнаты, вошла, села на край оттоманки и опять разрыдалась. «Он обманывает, — повторяла она, — как и ты обманываешь. Я окружена обманом». Он только пожал плечами и подумал о том, как грустно жить, как трудно исполнять долг, не встречаться, не звонить, не ходить туда, куда тянет неудержимо… а тут еще с сыном… эти странности… это упрямство… Грусть, грусть, да и только.

4

В бывшем кабинете деда, где даже в самые жаркие дни была могильная сырость, сколько бы ни открывали окна, выходившие прямо в тяжелую, темную хвою, такую пышную и запутанную, что невозможно было сказать, где кончается одна ель, где начинается другая, — в этой нежилой комнате, где на голом письменном столе стоял бронзовый мальчик со скрипкой, — был незапертый книжный шкап и в нем толстые тома вымершего иллюстрированного журнала. Лужин быстро перелистывал их, добираясь до той страницы, где, между стихотворением Коринфского, увенчанным арфообразной виньеткой, и отделом смеси со сведениями о передвигающихся болотах, американских чудаках и длине человеческих кишок, была гравирована шахматная доска. Никакие картины не могли удержать руку Лужина, листавшую том, — ни знаменитый Ниагарский водопад, ни голодающие индусские дети, толстопузые скелетики, ни покушение на испанского короля. Жизнь с поспешным шелестом проходила мимо, и вдруг остановка — заветный квадрат, этюды, дебюты, партии.

В начале летних каникул очень недоставало тети и старика с цветами, — особенно этого душистого старика, пахнувшего то фиалкой, то ландышем, в зависимости от тех цветов, которые он приносил тете. Приходил он обыкновенно очень удачно, — через несколько минут после того, как тетя, посмотрев на часы, уходила из дому. «Что ж, подождем», — говорил старик, снимая мокрую бумагу с букета, и Лужин придвигал ему кресло к столику, где уже расставлены были шахматы. Появление старика с цветами было выходом из довольно неловкого положения. После трех-четырех школьных пропусков обнаружилась неспособность тети играть в шахматы. Ее фигуры сбивались в безобразную кучу, откуда вдруг выскакивал обнаженный беспомощный король. Старик же играл божественно. Первый раз, когда тетя, натягивая перчатки, скороговоркой сказала: «Я, к сожалению, должна уйти, но вы посидите, сыграйте в шахматы с моим племянником, спасибо за чудные ландыши», — в первый раз, когда старик сел и сказал со вздохом: «Давненько не брал я в руки… ну-с, молодой человек, — левую или правую?» — в первый этот раз, когда через несколько ходов уже горели уши и некуда было сунуться, — Лужину показалось, что

он играет совсем в другую игру, чем та, которой его научила тетя. Благоухание овевало доску. Старик называл королеву ферзем, туру — ладьей и, сделав смертельный для противника ход, сразу брал его назад, и, словно вскрывая механизм дорогого инструмента, показывал, как противник должен был сыграть, чтобы предотвратить беду. Первые пятнадцать партий он выиграл без всякого труда, ни минуты не думая над ходом, во время шестнадцатой он вдруг стал думать и выиграл с трудом, в последний же день, в тот день, когда старик приехал с целым кустом сирени, который некуда было поставить, а тетя на цыпочках бегала у себя в спальне и потом, вероятно, ушла черным ходом, — в этот последний день, после долгой, волнующей борьбы, во время которой у старика открылась способность сопеть, Лужин что-то постиг, что-то в нем освободилось, прояснилось, пропала близорукость мысли, от которой мучительной мутью заволакивались шахматные перспективы. «Ну, что ж, ничья», — сказал старик. Он двинул несколько раз туда и сюда ферзем, как двигаешь рычагом испортившейся машины, и повторил: «Ничья. Вечный шах». Лужин попробовал тоже, не действует ли рычаг, потеребил, потеребил и напыжился, глядя на доску. «Далеко

пойдете, — сказал старик. — Далеко пойдете, если будете продолжать в том же духе. Большие успехи. Первый раз вижу… Очень, очень далеко…»

Он же ему объяснил нехитрую систему обозначений, и Лужин, разыгрывая партии, приведенные в журнале, вскоре открыл в себе свойство, которому однажды позавидовал, когда отец за столом говорил кому-то, что он-де не может понять, как тесть его часами читал партитуру, слышал все движения музыки, пробегая глазами по нотам, иногда улыбаясь, иногда хмурясь, иногда на минуту возвращаясь назад, как делает читатель, проверяющий подробность романа — имя, время года. «Большое, должно быть, удовольствие, — говорил отец, — воспринимать музыку в натуральном ее виде». Подобное удовольствие Лужин теперь начал сам испытывать, пробегая глазами по буквам и цифрам, обозначавшим ходы. Сперва он научился разыгрывать партии, — бессмертные партии, оставшиеся от прежних турниров, — беглым взглядом скользил по шахматным нотам и беззвучно переставлял фигуры на доске. Случалось, что после какого-нибудь хода, отмеченного восклицанием или вопросом, смотря по тому, хорошо или худо было сыграно, следовало несколько серий ходов в

скобках, ибо примечательный ход разветвлялся подобно реке, и каждый рукав надобно было проследить до конца, прежде чем возвратиться к главному руслу. Эти побочные, подразумеваемые ходы, объяснявшие суть промаха или провидения, Лужин мало-помалу перестал воплощать на доске и угадывал их гармонию по чередовавшимся знакам. Точно так же уже однажды разыгранную партию он мог просто перечесть, не пользуясь доской: это было тем более приятно, что не приходилось возиться с шахматами, ежеминутно прислушиваясь, не идет ли кто-нибудь; дверь, правда, он запирал на ключ, отпирал ее нехотя, после того как медная ручка много раз опускалась, — и отец, приходивший смотреть, что он делает в сырой, нежилой комнате, находил сына беспокойного и хмурого, с красными ушами; на столе лежали тома журнала, и Лужин-старший охвачен бывал подозрением, не ищет ли в них сын изображений голых женщин. «Зачем ты запираешь дверь? — спрашивал он (и маленький Лужин втягивал голову в плечи, с ужасающей ясностью представляя себе, как вот-вот, сейчас, отец заглянет под диван и найдет шахматы). — Тут прямо ледяной воздух. И что же интересного в этих старых журналах? Пойдем-ка

посмотреть, нет ли красных грибов под елками».

Были красные грибы, были. К мокрой, нежно-кирпичного цвета шапке прилипали хвойные иглы, иногда травинка оставляла на ней длинный, тонкий след. Испод бывал дырявый, на нем сидел порою желтый слизень, — и с толстого, пятнисто-серого корня Лужин-старший ножичком счищал мох и землю, прежде чем положить гриб в корзину. Сын шел за ним, отстав на пять-шесть шагов, заложив руки за спину, как старичок, и не только грибов не искал, но даже отказывался смотреть на те, которые с довольным кряканием откапывал отец. И иногда, в конце аллеи, полная и бледная, в своем печальном белом платье, не шедшем ей, появлялась мать и спешила к ним, попадая то в солнце, то в тень, и сухие листья, которые никогда не переводятся в северных рощах, шуршали под ее белыми туфлями на высоких, слегка скривившихся каблуках. И как-то в июле, на лестнице веранды, она поскользнулась и вывихнула ногу, и долго потом лежала — то в полутемной спальне, то на веранде, — в розовом капоте, напудренная, и рядом, на столике, стояла серебряная вазочка с бульдегомами[9]. Нога

[9] Примечания: 9

Круглые леденцы, служившие и лакомством, и средством от кашля (*фр.* boules de gomme).

скоро поправилась, но она осталась лежать, как будто решив, что так ей суждено, что именно это жизнью ей предназначено. А лето было необыкновенно жаркое, комары не давали покоя, с реки день-деньской раздавались визги купавшихся девиц, и в один такой томный день, рано утром, когда еще слепни не начали мучить черной пахучей мазью испачканную лошадь, Лужин-старший уехал на весь день в город. «Пойми же наконец. Мне необходимо повидаться с Сильвестровым, — говорил он накануне, расхаживая по спальне в своем мышиного цвета халате. — Какая ты, право, странная. Ведь это важно. Я сам предпочел бы остаться». Но жена продолжала лежать, уткнувшись лицом в подушку, и ее толстая, беспомощная спина вздрагивала. Все же он утром уехал, — и сын, стоя в саду, видел, как над зубчатым рядом елочек, отгораживавших сад от дороги, несся бюст кучера и шляпа отца.

Он в этот день затосковал. Все партии в старом журнале были изучены, все задачи решены, и приходилось играть самому с собой, а это безнадежно кончалось разменом всех фигур и вялой ничьей. И было невыносимо жарко. От веранды на яркий песок ложилась черная треугольная тень. Аллея была вся пятнистая от солнца, и

эти пятна принимали, если прищуриться, вид ровных, светлых и темных, квадратов. Под скамейкой тень распласталась резкой решеткой. Каменные столбы с урнами, стоявшие на четырех углах садовой площадки, угрожали друг другу по диагонали. Реяли ласточки, полетом напоминая движение ножниц, быстро вырезающих что-то. Не зная, что делать с собой, он побрел по тропинке вдоль реки, а за рекой был веселый визг и мелькали голые тела. Он стал за ствол дерева, украдкой, с бьющимся сердцем, вглядываясь в это белое мелькание. Птица прошумела в ветвях, и он испугался, быстро пошел назад, прочь от реки. Завтракал он один с экономкой, молчаливой, желтолицей старухой, от которой всегда шел легкий кофейный запах. Затем, валяясь на диване в гостиной, он сонно слушал всякие легкие звуки, то крик иволги в саду, то жужжание шмеля, влетевшего в окно, то звон посуды на подносе, который несли вниз из спальни матери, — и эти сквозные звуки странно преображались в его полусне, принимали вид каких-то сложных светлых узоров на темном фоне, и, стараясь распутать их, он уснул. Его разбудила горничная, посланная матерью… В спальне было темновато и уныло; мать привлекла его к себе, но он так напрягся, так

отворачивался, что пришлось его отпустить. «Ну, расскажи мне что-нибудь», — сказала она тихо. Он пожал плечами, ковыряя пальцем колено. «Ничего не хочешь рассказать?» — спросила она еще тише. Он посмотрел на ночной столик, положил в рот бульдегом и стал его сосать, — взял второй, третий, еще и еще, пока рот не наполнился сладкими, глухо стукавшимися шарами. «Бери, бери сколько хочешь», — шептала она и, выпростав руку, старалась как-нибудь его погладить. «Ты совсем не загорел в этом году, — сказала она погодя. — А может быть, я просто не вижу, тут такой мертвый свет, все синее. Подними жалюзи, пожалуйста. Или нет, постой, останься. Потом». Дососав бульдегомы, он справился, можно ли ему уходить. Она спросила, что он сейчас будет делать, не хочет ли он поехать на станцию к семичасовому поезду встречать отца. «Отпустите меня, — сказал он. — У вас пахнет лекарством».

По лестнице он попробовал съехать, как делалось в школе, как он сам никогда в школе не делал; но ступени были слишком высокие. Под лестницей, в шкапу, еще не до конца исследованном, он поискал журналов. Журнал он выкопал, нашел в нем шашечный отдел, глупые неповоротливые плошки, тупо стоявшие на доске, но

шахмат не было. Под руку все попадался альбом-гербарий с сухими эдельвейсами и багровыми листьями и с надписями детским, тоненьким, бледно-лиловым почерком, столь непохожим на теперешний почерк матери: Давос, 1885 г.; Гатчина, 1886 г. Он в сердцах стал выдирать листья и цветы и зачихал от мельчайшей пыли, сидя на корточках среди разбросанных книг. Потом стало так темно под лестницей, что уже страницы журнала, который он снова перелистывал, стали сливаться в серую муть, и иногда какая-нибудь небольшая картинка обманывала, казалась в расплывчатой темноте шахматной задачей. Он засунул кое-как книги в шкап, побрел в гостиную, вяло подумал, что, верно, уже восьмой час, так как буфетчик зажигает керосиновые лампы. Опираясь на трость и держась за перила, в сиреневом пеньюаре, тяжело спускалась мать, и лицо у нее было испуганное. «Я не понимаю, почему твой отец еще не приехал», — сказала она и, с трудом передвигаясь, вышла на веранду, стала вглядываться в дорогу между еловых стволов, обтянутых там и сям ярко-рыжим лучом.

Он приехал только к десяти, опоздал, оказывается, на поезд, очень много было дел, обедал с издателем, — нет, нет, супа не нужно. Он смеялся

и говорил очень громко и шумно ел, и Лужин вдруг почувствовал, что отец все время смотрит на него, точно ошеломлен его присутствием. Обед как-то слился с вечерним чаем, мать, облокотясь на стол, молча щурилась, глядя на тарелку с малиной, и чем веселее рассказывал отец, тем больше она щурилась. Потом она встала и тихо ушла, и Лужину показалось, что все это уже раз было. Он остался на веранде один с отцом и боялся поднять голову, все время чувствуя на себе пристальный, странный взгляд.

«Как вы изволили провести время? — вдруг сказал отец. — Чем занимались?» — «Ничем», — ответил Лужин. «А теперь что вы собираетесь делать? — тем же напряженно-шутливым голосом, подражая манере сына говорить на вы, спросил Лужин-старший. — Хотите уже спать ложиться или тут со мной посидеть?» Лужин убил комара и очень осторожно, снизу и сбоку, взглянул на отца. У отца была крошка на бороде и неприятно-насмешливо блестели глаза. «Знаешь что? — сказал он, и крошка спрыгнула. — Знаешь что? Давай во что-нибудь сыграем. Хочешь, например, я тебя научу в шахматы?»

Он увидел, как сын медленно покраснел, и, пожалев его, поспешно добавил: «Или в кабалу, —

там есть карты в столике». — «А шахмат у нас нет», — хрипло сказал Лужин и опять осторожно взглянул на отца. «Хорошие остались в Петербурге, — спокойно сказал отец, — но, кажется, есть старые на чердаке. Пойдем посмотрим».

Действительно, — при свете лампы, которую высоко держал отец, Лужин нашел в ящике, среди всякого хлама, доску и при этом опять почувствовал, что все это уже было раз — открытый ящик с торчащим сбоку гвоздем, пылью опушенные книги, деревянная доска с трещиной посредине. Нашлась и коробочка с выдвижной крышкой; в ней были щуплые шахматные фигуры. И все время, пока он искал, а потом нес шахматы вниз, на веранду, Лужин старался понять, случайно ли отец заговорил о шахматах или подсмотрел что-нибудь, — и самое простое объяснение не приходило ему в голову, как иногда, при решении задачи, ключом к ней оказывается ход, который представляется запретным, невозможным, естественным образом выпадающим из ряда возможных ходов.

И теперь, когда на освещенном столе, между лампой и простоквашей, была положена доска и отец стал ее вытирать газетой, лицо у него было уже не насмешливое, и Лужин, забыв страх,

забыв тайну, вдруг наполнился горделивым волнением при мысли о том, что он может, если пожелает, показать свое искусство. Отец начал расставлять фигуры. Одну из пешек заменяла нелепая фиолетовая штучка вроде бутылочки; вместо одной ладьи была шашка; кони были без голов, и та конская голова, которая осталась после опорожнения коробки (вместе с маленькой игральной костью и красной фишкой), оказалась не подходящей ни к одному из них. Когда все было расставлено, Лужин вдруг решился и пробормотал: «Я уже немножко умею». — «Кто же тебя научил?» — не поднимая головы, спросил отец. «В школе, — ответил Лужин. — Там некоторые играли». — «А! великолепно, — сказал отец. — Начнем, пожалуй…»

Он играл в шахматы с юношеских лет, но редко и безалаберно, со случайными игроками, — на волжском пароходе в погожий вечер, в иностранной санатории, где некогда умирал брат, на даче с сельским доктором, нелюдимым человеком, который периодически переставал к ним заглядывать, — и все эти случайные партии, полные зевков и бесплодных раздумий, были для него небрежным отдохновением или просто способом пристойно молчать в обществе человека, с

которым беседа не клеится, — короткие, незамысловатые партии, не отмеченные ни самолюбием, ни вдохновением, и которые он всегда одинаково начинал, мало обращая внимания на ходы противника. Не сетуя на проигрыш, он все же втайне считал, что играет очень недурно, и если проигрывает, то по рассеянности, по добродушию, по желанию оживить игру храбрыми вылазками, и полагал, что, если приналечь, можно и без теорий опровергнуть любой гамбит из учебника. Страсть сына к шахматам так поразила его, показалась такой неожиданной и вместе с тем роковой, неизбежной, — так странно и страшно было сидеть на этой яркой веранде, среди черной летней ночи, против этого мальчика, у которого словно увеличился, разбух напряженный лоб, как только он склонился над фигурами, — так это было все странно и страшно, что сосредоточить мысль на шахматном ходе он не мог и, притворяясь думающим, то смутно вспоминал свой беззаконный петербургский день, оставивший чувство стыда, в которое лучше было не углубляться, то глядел на легкое, небрежное движение, которым сын переставлял фигуру. И через несколько минут сын сказал: «Если так, то мат, а если так, то пропадает ваш ферзь», — и он, смутившись, взял ход обратно

и задумался по-настоящему, наклоняя голову то влево, то вправо, медленно протягивая пальцы к ферзю и быстро отдирая их, как будто обжигаясь, а сын тем временем спокойно, с несвойственной ему аккуратностью, убирал взятые фигуры в ящик. Наконец Лужин-старший сделал ход, и сразу начался разгром его позиций, и тогда он неестественно рассмеялся и опрокинул своего короля. Так он проиграл три партии и почувствовал, что, сыграй он еще десять, результат будет тот же, и все-таки не мог остановиться. В самом начале четвертой сын отставил его ход и, покачав головой, сказал уверенным, недетским голосом: «Худший ответ. Чигорин советует брать пешку». И когда с непонятной, безнадежной быстротой он проиграл и эту партию, Лужин-старший опять, как давеча, рассмеялся и стал дрожащей рукой наливать себе молоко в граненый стакан, на дне которого лежал стерженек малины, всплывший на поверхность, закружившийся, не желавший быть извлеченным. Сын убрал доску и коробку, положил их в угол на плетеный столик и, равнодушно пробурчав «спокойной ночи», тихо прикрыл за собою дверь.

«Ну что ж, этого следовало ожидать, — сказал Лужин-старший, вытирая платком кончики

пальцев. — Он не просто забавляется шахматами, он священнодействует».

Мохнатая, толстобрюхая ночница с горящими глазками, ударившись о лампу, упала на стол. Легко прошумел ветер по саду. В гостиной тонко заиграли часы и пробили двенадцать.

«Чепуха, — сказал он, — глупая фантазия. Многие мальчишки отлично играют в шахматы. Ничего нет удивительного. Вся эта история просто мне на нервы подействовала. Нехорошо. Напрасно она его поощряла. Ну, все равно…»

Он с тоской подумал, что сейчас придется лгать, увещевать, успокаивать, а уже поздний час…

«Хочется спать», — сказал он, но остался сидеть в кресле.

А рано утром, в густой роще за садом, в самом темном и мшистом углу, маленький Лужин зарыл ящик с отцовскими шахматами, полагая, что это самый простой способ избежать всяких осложнений, благо есть теперь другие фигуры, которыми можно открыто пользоваться. Его отец, не совладев с любопытством, отправился к угрюмому доктору, который играл в шахматы куда лучше его, и вечером, после обеда, смеясь и потирая руки, всеми силами стараясь скрыть от себя, что поступает нехорошо, — а почему нехо-

рошо, сам не знает, — он усадил сына и доктора за плетеный стол на веранде, сам расставил фигуры, извиняясь за фиолетовую штучку, и, сев рядом, стал жадно следить за игрой. Шевеля густыми, врозь торчащими бровями, муча мясистый нос большим мохнатым кулаком, доктор долго думал над каждым ходом, и порой откидывался, как будто издали лучше было видно, и делал большие глаза, и опять грузно нагибался, упираясь руками в колени. Он проиграл и так крякнул, что в ответ хрустнуло камышовое кресло. «Да нет же, нет же, — воскликнул Лужин-старший. — Надо так пойти, и все спасено, — у вас даже положение лучше». — «Да я же под шахом стою», — басом сказал доктор и стал расставлять фигуры заново. И когда он вышел его провожать в темный сад до окаймленной светляками тропинки, спускавшейся к мосту, Лужин-старший услышал те слова, которые так жаждал услышать, но теперь от этих слов было тяжело, — лучше бы он их не услышал.

Доктор стал бывать каждый вечер и, так как действительно играл очень хорошо, извлекал огромное удовольствие из непрекращавшихся поражений. Он принес учебник шахматной игры, посоветовал, однако, не слишком им увле-

каться, не уставать, читать на вольном воздухе. Он рассказывал о больших мастерах, которых ему приходилось видеть, о недавнем турнире, а также о прошлом шахмат, о довольно фантастическом радже, о великом Филидоре, знавшем толк и в музыке. Иногда, с угрюмой улыбкой, он приносил то, что называл «гостинцем», — хитрую задачу, откуда-то вырезанную. Лужин, покорпев над ней, находил наконец решение и картаво восклицал, с необыкновенным выражением на лице, с блеском счастья в глазах: «Какая роскошь! Какая роскошь!» Но составлением задач он не увлекся, смутно чувствуя, что попусту в них растратилась бы та воинственная, напирающая, яркая сила, которую он в себе ощущал, когда доктор ударами мохнатого пальца все дальше и дальше убирал своего короля и наконец замирал, кивал головой, глядя на доску, меж тем как отец, всегда присутствовавший, всегда жаждавший чуда — поражения сына, — и пугавшийся, и радовавшийся, когда сын выигрывал, и страдавший от этой сложной смеси чувств, — хватал коня или ладью, говорил, что не все пропало, сам иногда доигрывал безнадежную партию.

И пошло. Между этими вечерами на веранде и тем днем, когда в столичном журнале появилась

фотография Лужина, как будто ничего не было, ни дачной осени, моросящей на астры, ни переезда в город, ни возвращения в школу. Фотография появилась в октябрьский день, вскоре после первого, незабвенного выступления в шахматном клубе. И все другое, что было между ней и переездом в Петербург, — два месяца как-никак, — было так смутно и так спутанно, что потом, вспоминая то время, Лужин не мог точно сказать, когда, например, была вечеринка в школе — где тихо, в уголку, почти незаметно для товарищей, он обыграл учителя географии, известного любителя, — или когда, по приглашению отца, явился к ним обедать седой еврей, дряхлый шахматный гений, побеждавший во всех городах мира, а ныне живший в праздности и нищете, полуслепой, больной сердцем, потерявший навеки огонь, хватку, счастье… Лужин помнил одно совершенно ясно — боязнь, которую он испытывал в школе, боязнь, что узнают о его даре и засмеют его, — и впоследствии, орудуя этим безошибочным воспоминанием, он рассудил, что после партии, сыгранной на вечеринке, он в школе, должно быть, больше не бывал, ибо, помня все содрогания своего детства, он не мог представить себе то ужасное ощущение, которое бы испытал,

войдя наутро в класс и увидев любопытные, всё проведавшие глаза. Он помнил опять-таки, что после появления фотографии он отказался ходить в школу, и невозможно было распутать в памяти узел, в который связались вечеринка и фотография, невозможно было сказать, что случилось раньше, что позже. Журнал ему принес отец, и фотография была та, которую сняли в прошлом году на даче: ствол в саду, и он у ствола, узор листвы на лбу, угрюмое выражение на чуть склоненном лице и те узкие белые штанишки, которые всегда спереди расстегивались. Вместо радости, ожидаемой отцом, он не выразил ничего, — но тайная радость все же была: вот это кладет конец школе. Его упрашивали в продолжение недели. Мать, конечно, плакала. Отец пригрозил отнять новые шахматы — огромные фигуры на сафьяновой доске. И вдруг все решилось само собой. Он бежал из дому — в осеннем пальтишке, так как зимнее, после одной неудавшейся попытки бежать, спрятали, — и, не зная, куда деться (шел колючий снег, оседал на карнизах, и ветер его сдувал, без конца повторяя эту мелкую метель), он побрел, наконец, к тете, которой не видел с весны. Он встретил ее у подъезда ее дома. Она была в черной шляпе, держала в руках завернутые в бумагу

цветы, шла на похороны. «Твой старый партнер помер, — сказала она. — Поедем со мной». Он рассердился, что нельзя посидеть в тепле, что идет снег, что у тети горят сентиментальные слезы за вуалью, — и, резко повернув, пошел прочь и, с час походив, отправился домой. Самого возвращения он не помнил, — любопытней всего, что, быть может, предыдущее произошло на самом деле иначе, что многое у него в памяти было потом добавлено, взято из его бреда, а бредил он целую неделю, и, так как он был очень слабый и нервный, доктора полагали, что он болезни не переживет. Болел он не в первый раз, и, восстановляя ощущение именно этой болезни, он невольно вспоминал и другие, которыми его детство было полно, — и особенно отчетливо вспоминалось ему, как еще совсем маленьким, играя сам с собой, он все кутался в тигровый плед, одиноко изображая короля, — всего приятней было изображать короля, так как мантия предохраняла от озноба, и хотелось как можно больше отдалить ту неизбежную минуту, когда тронут ему лоб, поставят градусник и затем поспешно уложат его в постель. Но ничего раньше не было схожего с его октябрьской шахматной болезнью. Седой еврей, побивавший Чигорина, мертвый

старик, обложенный цветами, отец, с веселым, хитрым лицом приносивший журнал, и учитель географии, остолбеневший от полученного мата, и комната в шахматном клубе, где какие-то молодые люди в табачном дыму тесно его окружили, и бритое лицо музыканта, державшего почему-то телефонную трубку, как скрипку, между щекой и плечом, — все это участвовало в его бреду и принимало подобие какой-то чудовищной игры на призрачной, валкой, бесконечно расползавшейся доске.

Когда он выздоровел, его, похудевшего и выросшего, увезли за границу, сперва на берег Адриатического моря, где он лежал на солнце в саду, разыгрывая в уме партии, что запретить ему было невозможно, затем — в немецкий курорт, где отец водил его гулять по тропинкам, огороженным затейливыми буковыми перилами. Шестнадцать лет спустя, снова посетив этот же курорт, он узнал глиняных бородатых карл между клумб, обведенных цветным гравием, перед выросшей, похорошевшей гостиницей, и темный, сырой лес на холму, разноцветные мазки масляной краски (каждый цвет означал направление определенной прогулки), которыми был снабжен буковый ствол или скала на пере-

крестке, дабы не заплутал медлительный путник. Те же пресс-папье с изумрудно-синими, перламутром оживленными видами под выпуклым стеклом продавались в лавках близ источника, и как будто тот же оркестр на помосте в саду играл попурри из опер, и клены бросали живую тень на столики, за которыми люди пили кофе и ели клинообразные ломти яблочного торта со сбитыми сливками.

«Вот видите эти окошки, — сказал он, указывая тростью на крыло гостиницы. — Там имел место тогда турнирчик. Играли солиднейшие немецкие игроки. Мне было четырнадцать лет. Третий приз, да, третий приз».

Он снова положил руки на толстую трость тем печальным, слегка старческим движением, которое ему теперь было свойственно, и, как будто слушая музыку, наклонил голову.

«Что? Мне надеть шляпу? Солнце, говорите, печет? Нет, мне это нечувствительно. Нет, оставьте, зачем же? Мы сидим в тени».

Все же он взял соломенную шляпу, протянутую ему через столик, побарабанил по дну, где было расплывчато-темное пятно на имени шапочника, надел ее, криво улыбнувшись. Именно — криво: правая щека слегка поднималась, справа губа

обнажала плохие, прокуренные зубы, и другой улыбки у него не было. И нельзя было сказать, что ему всего только пошел четвертый десяток, — от крыльев носа спускались две глубоких, дряблых борозды, плечи были согнуты, во всем его теле чувствовалась нездоровая тяжесть, и когда он вдруг резко встал, защищаясь локтем от осы, — стало видно, что он довольно тучный, — ничто в маленьком Лужине не предвещало этой ленивой, дурной полноты. «Да что она пристала!» — вскрикнул он тонким, плачущим голосом, продолжая поднимать локоть, а другой рукой силясь достать платок. Оса, описав еще один, последний круг, улетела, и он долго провожал ее глазами, машинально отряхивая платок, и потом, поставив потверже на гравий металлический стул и подняв упавшую трость, сел снова, тяжело дыша.

«Отчего вы смеетесь? Они очень неприятные насекомые, — осы». Он нахмурился, глядя на стол. Рядом с его портсигаром лежала дамская сумочка, полукруглая, из черного шелка. Он рассеянно потянулся к ней, стал щелкать замком.

«Плохо запирается, — сказал он, не поднимая глаз. — В прекрасный день вы всё выроните».

Он вздохнул, отложил сумку, тем же голосом

добавил: «Да, солиднейшие немецкие игроки. И один австриец. Не повезло моему покойному папаше. Думал, что тут нет живого интереса к шахматам, а попали прямо на турнир».

Что-то понастроили, крыло дома теперь выглядело иначе. А жили они вон там, во втором этаже. Было решено остаться там до осени, а потом вернуться в Россию, и призрак школы, о которой отец второй год не смел упомянуть, опять замаячил. Мать вернулась гораздо раньше, в начале лета. Она говорила, что безумно тоскует по русской деревне, и это длинное-длинное «безумно», с таким зудящим, ноющим средним слогом, было почти единственной ее интонацией, которую сын запомнил. И уехала она все-таки нехотя, — да и сама не знала, ехать ли или оставаться. Уже давно началось у нее странное отчуждение от сына, как будто он уплыл куда-то, и любила она не этого взрослого мальчика, шахматного вундеркинда, о котором уже писали газеты, а того маленького, теплого, невыносимого ребенка, который, чуть что, кидался плашмя на пол и кричал, стуча ногами. И все было так грустно и так ненужно, — эта жидкая, нерусская сирень на станции, и тюльпанообразные лампочки в спальном купе норд-экспресса, и эти замирания

в груди, чувство удушья, — быть может, грудная жаба или просто нервы, как говорит муж. Она уехала, не писала, отец повеселел и переехал в комнату поменьше, а потом, как-то в июле, маленький Лужин, возвращаясь домой из другой гостиницы — где жил один из тех сосредоточенных пожилых людей, которые с ним играли, заменяли ему сверстников, — случайно увидел на косогоре, у деревянных перил, в блеске вечернего солнца, отца с дамой. И так как эта дама была несомненно его петербургская рыжеволосая тетя, он очень удивился, и стало ему почему-то стыдно, и он ничего не сказал отцу. А через несколько дней после этого, рано утром, он услышал — отец быстро приближается к его спальне по коридору и как будто громко хохочет. Дверь с размаху открылась, и отец вошел, протягивая, словно отстраняя от себя, бумажку — телеграмму. Слезы лились у него по щекам, вдоль носа, как будто он обрызгал лицо водой, и он повторял, всхлипывая, задыхаясь: «Что это такое? Что это такое? Это ошибка, переврали», — и все отстранял от себя бумажку.

5

Он играл в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Киеве, в Одессе. Появился некий Валентинов, что-то среднее между воспитателем и антрепренером. Отец носил на рукаве черную повязку — траур по жене — и говорил провинциальным журналистам, что никогда бы так основательно не осмотрел родной земли, если б его сын не был вундеркиндом.

Он сражался на турнирах с лучшими русскими шахматистами, играл вслепую, часто играл один против человек двадцати любителей. Лужин-старший, много лет спустя (в те годы, когда каждый его фельетон в эмигрантской газете казался ему самому его лебединой песней, и Бог знает, сколько было этих лебединых песен, полных лирики и опечаток), задумал повесть как раз о таком мальчике-шахматисте, которого отец (по книжке — приемный) возит из города в город. Начал он книгу в двадцать восьмом году, — вернувшись домой с заседания, на которое он пришел один. Так неожиданно, так живо явился ему замысел этой книги, пока он сидел и ждал в отдельной комнате берлинской кофейни.

Пришел он, как всегда, очень точно, удивился, что еще столики не составлены, велел лакею немедленно это сделать, спросил чаю и рюмку коньяку. Комнатка была чистая, ярко освещенная, с натюрмортом на стене: аппетитные персики вокруг разрезанного арбуза. На составленные столики, плавно взлетев, легла чистая скатерть. Он положил в чай кусочек сахару и, грея бескровные, всегда зябкие руки о стекло, смотрел, как поднимаются пузырьки. Рядом, в общем зале, скрипка и рояль играли из «Травиаты», — и от сладкой музыки, от коньяку, от вида белой скатерти старику Лужину стало так грустно, и грусть была такая приятная, что он боялся двинуться, сидел, облокотясь на одну руку и прижав палец к виску, — жилистый, красноглазый старик, в вязаном жилете и коричневом пиджаке. Играла музыка, пустая комнатка была налита светом, алела арбузная рана, — и никто на заседание не шел. Несколько раз он смотрел на часы, но потом так разомлел от музыки и чаю, что забыл о времени и стал потихоньку думать о том о сем, — о приобретенной по случаю пишущей машинке, о Мариинском театре, о сыне, так редко приезжающем в Берлин. А затем он спохватился, что сидит уже час, что скатерть все так же пуста и бела… И

в этой светлой, показавшейся ему мистической пустоте, сидя за столом, предназначенным для несостоявшегося заседания, он вдруг решил, что давно не являвшееся писательское вдохновение теперь посетило его.

«Пора подвести некоторые итоги», — подумал он и оглядел пустую комнату, — скатерть, синие обои, натюрморт, — как оглядывают комнату, где родился известный человек. И фабула повести, которую старик Лужин давно лелеял, показалась ему в этот миг только что созданной, и он пригласил мысленно будущего биографа (парадоксальным образом становившегося, по мере приближения к нему во времени, все призрачнее, все отдаленнее) повнимательнее осмотреть эту случайную комнату, где родилась повесть «Гамбит». Он залпом выпил остаток чаю, надел пальто и шляпу, узнал от лакея, что нынче не среда, а вторник, улыбнулся, не без удовольствия отмечая свою рассеянность, и, вернувшись домой, сразу снял черную металлическую крышу с пишущей машинки.

Ярче всего перед его глазами стояло вот это, писательским воображением слегка ретушированное воспоминание: светлый зал, два ряда столиков, на столиках шахматные доски. За каж-

дым столиком сидит человек, за спиной каждого сидящего стоит кучка зрителей, вытянувших шеи. И вот, по проходу между столиками, ни на кого не глядя, спешит мальчик, — одетый, как Цесаревич, в нарядную белую матроску, — и останавливается поочередно у каждой доски, быстро делает ход или на миг задумывается, наклонив золотисто-русую голову. Если глядеть со стороны, совершенно непонятно, что происходит: пожилые люди в черном сумрачно сидят за досками, густо уставленными вычурными куклами, а легкий, нарядный мальчик, Бог весть зачем пришедший сюда, в странной, напряженной тишине легко переходит от столика к столику, один движется среди этих оцепеневших людей…

Стилизованности воспоминания писатель Лужин сам не заметил. Не заметил он и того, что придал сыну черты скорее «музыкального», нежели шахматного вундеркинда, — что-то болезненное, что-то ангельское, — и глаза, подернутые странной поволокой, и вьющиеся волосы, и прозрачную белизну лица. Но теперь было некоторое затруднение: этот очищенный от всякой примеси, доведенный до предельной нежности образ его сына надобно было окружить известным бытом. Одно он решил твердо, — что

не даст этому ребенку вырасти, не сделает из него того угрюмого человека, который иногда навещал его в Берлине, односложно отвечал на вопросы, сидел прикрыв глаза и уходил, оставив конверт с деньгами на подоконнике.

«Он умрет молодым», — проговорил он вслух, беспокойно расхаживая по комнате, вокруг открытой машинки, следившей за ним всеми бликами своих кнопок. «Да, он умрет молодым, его смерть будет неизбежна и очень трогательна. Умрет, играя в постели последнюю свою партию». Эта мысль ему так понравилась, что он пожалел о невозможности начать писать книгу с конца. Почему, собственно говоря, невозможно? Можно попробовать… Он повел было мысль обратным ходом — от этой трогательной, такой отчетливой смерти назад, к туманному рождению героя, но вдруг встряхнулся, сел за стол и стал думать наново.

Прежде, когда он мечтал о такой книге, он чувствовал, что ему две вещи мешают: война и революция. Дар сына по-настоящему развился только после войны, когда он из вундеркинда превратился в маэстро. Как раз накануне этой войны, которая так мешала воспоминанию работать на стройную литературную фабулу, он с

сыном и с Валентиновым уехал опять за границу. Приглашали играть в Вену, в Будапешт, в Рим. Слава русского мальчика, уже побившего кое-кого из тех игроков, имена которых попадают в шахматные учебники, так росла, что об его собственной скромной писательской славе тоже вскользь упоминалось в иностранных газетах. Они были все трое в Швейцарии, когда был убит австрийский эрцгерцог. По соображениям совершенно случайным (полезный сыну горный воздух, слова Валентинова, что теперь России не до шахмат, а сын только шахматами жив, да еще мысль, что война не надолго) он вернулся в Петербург один. Через несколько месяцев он не вытерпел и вызвал сына. В странном витиеватом письме, которому как-то соответствовал медленный кружной путь, этим письмом проделанный, Валентинов сообщил, что сын приехать не хочет. Лужин написал снова, и ответ, такой же витиеватый и вежливый, пришел уже не из Тараспа, а из Неаполя. Валентинова он возненавидел. Были дни необыкновенной тоски. Впрочем, Валентинов в очередном письме предложил, что все расходы по содержанию сына возьмет на себя, что свои — сочтемся (так и написал). Шло время. В неожиданной роли военного корреспондента

он попал на Кавказ. За днями тоски и острой ненависти по отношению к Валентинову (писавшему, впрочем, прилежно) пошли дни душевного успокоения, основанного на том, что сыну за границей хорошо, лучше, чем было бы в России (что и утверждал Валентинов).

Теперь, почти через пятнадцать лет, эти годы войны оказались раздражительной помехой, это было какое-то посягательство на свободу творчества, ибо во всякой книге, где описывалось постепенное развитие определенной человеческой личности, следовало как-нибудь упомянуть о войне, и даже смерть героя в юных летах не могла быть выходом из положения. Были лица и обстоятельства вокруг образа сына, которые, к сожалению, были мыслимы только на фоне войны, не могли бы существовать без этого фона. С революцией было и того хуже. По общему мнению, она повлияла на ход жизни всякого русского; через нее нельзя было пропустить героя, не обжигая его, избежать ее было невозможно. Это уже было подлинное насилие над волей писателя. Меж тем, как могла революция задеть его сына? В долгожданный день осенью тысяча девятьсот семнадцатого года явился Валентинов, такой же веселый, громкий, великолепно одетый,

и за ним пухлый молодой человек с усиками. Была минута печали и замешательства и странного разочарования. Сын был молчалив и все посматривал в окно («Боится возможной стрельбы», — вполголоса пояснил Валентинов). Сначала все это было похоже на дурной сон, — но потом обошлось. Валентинов продолжал уверять, что «свои — сочтемся», — оказалось, что у него большие, таинственные дела, и деньги рассованы по всем банкам союзной Европы. Сын стал посещать тишайший шахматный клуб, доверчиво расцветший в самую пору гражданской сумятицы, а весной исчез вместе с Валентиновым — опять за границу. Дальше следовали воспоминания только личные, воспоминания непривлекательные, Бог с ними, голод, арест, Бог с ними, и вдруг — благословенная высылка, законное изгнание, чистая желтая палуба, балтийский ветер, спор с профессором Василенко о бессмертии души.

Из всего этого, из всей этой грубой мешанины, — так и липнущей, так и прущей из всех углов памяти, принижающей всякое воспоминание, загораживающей путь свободной мысли, — непременно следовало осторожно, по кусочкам, вы скрести и целиком впустить в книгу — Валентинова. Человек несомненно та-

лантливый, как определяли его те, кто собирался тут же сказать о нем что-нибудь скверное; чудак, на все руки мастер, незаменимый человек при устройстве любительского спектакля, инженер, превосходный математик, любитель шахмат и шашек, «амюзантнейший[10] господин», как он сам рекомендовал себя. У него были чудесные карие глаза и чрезвычайно привлекательная манера смеяться. Он носил на указательном пальце перстень с адамовой головой и давал понять, что у него были в жизни дуэли. Одно время он преподавал гимнастику в школе, где учился маленький Лужин, и большое впечатление производило на учеников и учителей то, что за ним приезжает таинственная дама в лимузине. Он изобрел походя удивительную металлическую мостовую, которая была испробована в Петербурге, на Невском, близ Казанского собора. Он же сочинил несколько остроумных шахматных задач и был первым экспонентом[11] так называемой «русской» темы. Ему было двадцать восемь лет в год объявления войны, и никакой болезнью он не страдал. Анемическое слово «дезертир» как-то не

[10] Примечания: 10
Забавный (*фр.* amusant).

[11] Примечания: 11
Здесь: представитель.

подходило к этому веселому, крепкому, ловкому человеку, — другого слова, однако, не подберешь. Чем он занимался за границей во время войны — так и осталось неизвестным.

Итак, было решено полностью им воспользоваться, благодаря ему любая фабула приобретала необыкновенную живость, привкус авантюры. Но самое главное еще оставалось придумать. Ведь все это до сих пор были только краски, правда теплые, живые, но плывшие отдельными пятнами; требовалось еще найти определенный рисунок, резкую линию. Впервые писатель Лужин, задумав книгу, невольно начинал с красок.

И чем ярче становились в его воображении эти краски, тем труднее ему было засесть за пишущую машинку. Прошел месяц, другой, началось лето, и он все продолжал одевать в нарядные цвета незримую еще тему. Ему казалось иногда, что вот, книга написана, и он ясно видел набор, полосы гранок с красными иероглифами по краям, а потом свеженькую, брошюрованную книгу, хрустящую в руках, а дальше был чудесный розовый туман, сладостные награды за все неудачи, за все обманы славы. Он ходил в гости к многочисленным своим знакомым и подолгу, с удовольствием рассказывал о своей книге. В

одной эмигрантской газете появилась заметка о том, что он, после долгого молчания, работает над новой повестью. И эту заметку, им же составленную и посланную, он с волнением перечел раза три, вырезал, положил в бумажник. Он стал чаще появляться на литературных вечерах, устраиваемых адвокатами и дамами, и предполагал, что, должно быть, все на него смотрят с любопытством и уважением. Как-то, в неверный летний день, он поехал за город, промок под внезапным ливнем, пока тщетно искал белых грибов, и на следующий день слег. Болел он одиноко и кратко, и смерть его была неспокойна. Правление союза эмигрантских писателей почтило его память вставанием.

6

«Непременно все высыплется», — сказал Лужин, опять завладев сумкой.

Она быстро протянула руку, отложила сумку подальше, хлопнув ею об столик, — как бы подчеркивая этим запрет. «Вечно вам нужно теребить что-нибудь», — проговорила она ласково.

Лужин посмотрел на свою руку, топыря и снова сдвигая пальцы. Ногти были желтые от курения, с грубыми заусеницами, на суставах тянулись толстые поперечные морщинки, пониже росли редкие волоски. Он положил руку на стол, рядом с ее рукой, молочно-бледной, мягкой на вид, с коротко и аккуратно подстриженными ногтями.

«Я жалею, что не знала вашего отца, — сказала она погодя. — Он, должно быть, был очень добрым, очень серьезным, очень любил вас».

Лужин промолчал.

«Расскажите мне еще что-нибудь, — как вы тут жили? Неужели вы были когда-нибудь маленьким, бегали, возились?»

Он опять положил обе руки на трость, — и по выражению его лица, по сонному опусканию тяжелых век, по чуть раскрывшемуся рту, словно

он собирался зевнуть, она заключила, что ему стало скучно, что вспоминать надоело. Да и вспоминал-то он равнодушно, — ей было странно, что вот, он месяц тому назад потерял отца и сейчас без слез может смотреть на дом, где он в детстве жил с ним вместе. Но даже в этом равнодушии, в его неуклюжих словах, в тяжелых движениях его души, как бы поворачивавшейся спросонья и засыпавшей снова, ей мерещилось что-то трогательное, трудноопределимая прелесть, которую она в нем почувствовала с первого дня их знакомства. И как таинственно было то, что, несмотря на очевидную вялость его отношения к отцу, он все-таки выбрал именно этот курорт, именно эту гостиницу, как будто ждал от когда-то уже виденных предметов и пейзажей того содрогания, которого он без чужой помощи испытать не мог. А приехал он чудесно, в зеленый и серый день, под моросящим дождем, в безобразной, черной, мохнатой шляпе, в огромных галошах, — и, глядя из окна на его фигуру, грузно вылезавшую из отельного автобуса, она почувствовала, что этот неизвестный приезжий — кто-то совсем особенный, непохожий на всех других жителей курорта. В тот же вечер она узнала, кто он. Все в столовой смотрели на этого полного, мрачного человека,

который жадно и неряшливо ел и иногда задумывался, водя пальцем по скатерти. Она в шахматы не играла, никогда шахматными турнирами не интересовалась, но каким-то образом его имя было ей знакомо, бессознательно въелось в память, и она не могла вспомнить, когда впервые услышала его. Фабрикант, страдавший давним запором, о котором охотно говорил, человек об одной мысли, но добродушный, приятный, не без вкуса одетый, — вдруг забыл о запоре, и в галерее, где пили целебную воду, сообщил ей несколько удивительных вещей о мрачном господине, который, переменив мохнатую шляпу на старое канотье, стоял перед витринкой, вделанной в колонну, и разглядывал кустарные вещицы, выставленные для продажи. «Ваш соотечественник, — сказал фабрикант, указывая на него бровью, — знаменитый шахматный игрок. Приехал из Франции на турнир. Турнир будет в Берлине, через два месяца. Если выиграет, то вызовет чемпиона мира. Отец у него недавно умер. Вот тут в газете все это сказано».

Ей захотелось познакомиться с ним, поговорить по-русски, — столь привлекательным он ей показался своей неповоротливостью, сумрачностью, низким отложным воротником, который

его делал почему-то похожим на музыканта, — и ей нравилось, что он на нее не смотрит, не ищет повода с ней заговорить, как это делали все неженатые мужчины в гостинице. Была она собой не очень хороша, чего-то недоставало ее мелким, правильным чертам. Как будто последний, решительный толчок, который бы сделал ее прекрасной, оставив те же черты, но придав им неизъяснимую значительность, не был сделан. Но ей было двадцать пять лет, по моде остриженные волосы лежали прелестно, и был у нее один поворот головы, в котором сказывался намек на возможную гармонию, обещание подлинной красоты, в последний миг не сдержанное. Она носила очень простые, очень хорошо сшитые платья, обнажала руки и шею, немного щеголяя их нежной свежестью. Она была богата, — ее отец, потеряв одно состояние в России, нажил другое в Германии. Ее мать должна была скоро приехать на этот курорт, и с тех пор, как возник Лужин, ожидание ее шумливого появления стало чем-то неприятно.

Она познакомилась с ним на третий день его приезда, так, как знакомятся в старых романах или в кинематографических картинах: она роняет платок, он его поднимает, — с той только раз-

ницей, что она оказалась в роли героя. Лужин шел по тропинке перед ней и последовательно ронял: большой клетчатый носовой платок, необыкновенно грязный, с приставшим к нему карманным сором, сломанную, смятую папиросу, потерявшую половину своего нутра, орех и французский франк. Она подобрала только платок и монету и медленно догоняла его, с любопытством ожидая новой потери. Лужин шел, держа в правой руке трость, которой он трогал каждый ствол, каждую скамью, а левой рукой все шарил в кармане и наконец остановился, вывернул карман и стал разглядывать в нем дырку. При этом выпала еще монета. «Насквозь», — сказал он по-немецки, взяв из ее руки платок («Еще вот это», — сказала она по-русски). «Скверная материя», — продолжал он, не поднимая головы, не переходя на русский язык, ничему не удивляясь, словно возвращение вещей было вполне естественным. «Да не суйте опять туда же», — сказала она и покатилась со смеху. Только тогда он поднял голову и хмуро на нее посмотрел. Его полное, серое лицо, с плохо выбритыми, израненными бритвой щеками, приобрело растерянное и странное выражение. У него были удивительные глаза, узкие, слегка раскосые, полуприкрытые тяжелыми веками и как

бы запыленные чем-то. Но сквозь эту пушистую пыль пробивался синеватый, влажный блеск, в котором было что-то безумное и привлекательное. «Не роняйте больше», — сказала она и пошла от него прочь, чувствуя его взгляд у себя на спине. Вечером, входя в столовую, она невольно издали улыбнулась ему, и он ответил той угрюмой, кривой полуулыбкой, с которой иногда смотрел на черную отельную кошку, бесшумно проскользавшую от столика к столику. А на следующий день, в саду, где были гроты, фонтаны и глиняные карлы, он подошел к ней и густым, грустным голосом стал благодарить за платок, за монету (и с той поры он смутно, почти бессознательно все следил, не роняет ли она чего-нибудь, — как будто стараясь восстановить какую-то тайную симметрию). «Не за что, не за что», — ответила она и много еще произнесла таких слов, — бедные родственники настоящих слов, — и сколько их, этих маленьких сорных слов, произносимых скороговоркой, временно заполняющих пустоту. Употребляя такие слова и чувствуя их мелкую суетность, она спросила, нравится ли ему курорт, надолго ли он тут, пьет ли воду. Он отвечал, что нравится, что надолго, что воду пьет. Потом она спросила, сознавая глупость вопроса, но не

в силах остановиться, — давно ли он играет в шахматы. Он ничего не ответил, отвернулся, и она так смутилась, что стала быстро перечислять все метеорологические приметы вчерашнего, сегодняшнего, завтрашнего дня. Он продолжал молчать, и она замолчала тоже и стала рыться в сумке, мучительно ища в ней тему для разговора и находя только сломанный гребешок. Он вдруг повернул к ней лицо и сказал: «Восемнадцать лет, три месяца и четыре дня». Для нее это было восхитительным облегчением, а к тому же изысканная обстоятельность его ответа чем-то польстила ей. Впрочем, ее вскоре начало немного сердить, что он, в свой черед, не задает ей никаких вопросов, принимает ее как бы на веру.

«Артист, большой артист», — часто думала она, глядя на его тяжелый профиль, на тучное, сгорбленное тело, на темную прядь, приставшую ко всегда мокрому лбу. И может быть, именно потому, что она о шахматах не знала ровно ничего, шахматы не были для нее просто домашней игрой, приятным времяпровождением, а были таинственным искусством, равным всем признанным искусствам. Никогда она еще не встречала близко таких людей — не с кем было его сравнить, кроме как с гениальными чуда-

ками, музыкантами и поэтами, образ которых знаешь так же определенно и так же смутно, как образ римского императора, инквизитора, скупца из комедии. В памяти у нее была недлинная темноватая галерея, череда всех лиц, чем-либо задевших ее воображение. Тут были школьные воспоминания, — женская гимназия в Петербурге с необычным плющом по фасаду на короткой, пыльной, бестрамвайной улице, и был некий учитель географии, преподававший также в мужском училище, — большеглазый белолобый человек со всклокоченными волосами, больной — говорили — чахоткой, побывавший — говорили — в гостях у Далай-ламы, влюбленный — говорили — в одну из старших учениц, племянницу седой, голубоглазой инспектрисы, чей опрятный кабинетик был уютен своими синими обоями и белой печкой. Географ остался у нее в памяти именно на синем фоне, окруженный синим воздухом, и быстро приближался, по привычке своей торопливо и шумно влетая в класс, и вдруг таял, пропадал, уступая место другому лицу, показавшемуся ей тоже непохожим на все прочие. Появлению этого лица предшествовало долгое внушение со стороны инспектрисы, что не надо смеяться, ни в коем случае не надо сме-

яться. Это было в первый советский год, из сорока учениц в классе осталось семнадцать, ежедневно встречали учителей вопросом: «Будем ли мы сегодня учиться?», и неизменно те отвечали: «Мы еще не получили окончательных инструкций». Инспектриса велела, чтобы никаких смешков не было, когда приедет сейчас человек из комиссариата народного просвещения, что бы он ни говорил, как бы он себя ни вел. И он приехал, и поселился в ее памяти как человек чрезвычайно забавный, пришедший из другого, нелепого мира. Он был хромой, но очень живой и вертлявый, с быстрыми, прыгающими глазами. Девицы столпились в притихшей зале, и он ходил перед ними взад и вперед, проворно хромая и с обезьяньей ловкостью поворачиваясь. И, хромая мимо них, ловко таща ногу на двойном каблуке, правой рукой разрезая воздух на правильные ломти или разглаживая его, как сукно, он пространно и быстро говорил о лекциях по социологии, которые он будет читать, о скором слиянии с мужской школой, — и неудержимо, до боли в скулах, до судорог в горле, хотелось смеяться. И затем, в Финляндии, оставшейся у нее в душе как что-то более русское, чем сама Россия, оттого, может быть, что деревянная дача, и елки, и белая лодка

на черном от хвойных отражений озере особенно замечались, как русское, особенно ценились, как что-то запретное по ту сторону Белоострова, — в этой еще дачной, еще петербургской Финляндии она несколько раз издали видела знаменитого писателя, очень бледного, с отчетливой бородкой, все посматривавшего на небо, где начинали водиться вражеские аэропланы. И он остался странным образом рядом с русским офицером, впоследствии потерявшим руку в Крыму, — тишайшим, застенчивым человеком, с которым она летом играла в теннис, зимой бегала на лыжах, и при этом снежном воспоминании всплывала вдруг опять на фоне ночи дача знаменитого писателя, где он и умер, расчищенная дорожка, сугробы, освещенные электричеством, призрачные полоски на темном снегу. После этих по-разному занятных людей, каждый из которых окрашивал воспоминание в свой определенный цвет (голубой географ, защитного цвета комиссар, черное пальто писателя и человек, весь в белом, подбрасывающий ракеткой еловую шишку), была расплывчатость и мелькание, жизнь в Берлине, случайные балы, монархические собрания, много одинаковых людей — и все это было еще так близко, что память не могла найти

фокуса и разобраться в том, что ценно, а что сор, да и разбираться было теперь некогда, слишком много места занял угрюмый, небывалый, таинственный человек, самый привлекательный из всех ей известных. Таинственно было самое его искусство, все проявления, все признаки этого искусства. Она вскоре узнала, что по вечерам, после ужина, до поздней ночи, он работает. Но эту работу она представить себе не могла, так как не к чему было прицепиться, ни к мольберту, ни к роялю, а именно к такой, определенной эмблеме искусства тянулась ее мысль. Комната его была в первом этаже, гуляющие с сигарами в темноте по саду иногда видели его лампу, его склоненное лицо. Кто-то ей наконец сообщил, что он сидит за пустой шахматной доской. Ей захотелось самой посмотреть, и как-то, через несколько дней после их первого разговора, она пробралась по тропинке между олеандровыми кустами к его окну. Но, почувствовав вдруг неловкость, она прошла мимо, не посмотрев, вышла в аллею, куда доносилась музыка из курзала, и, не совладав с любопытством, вернулась опять к окну, причем нарочно скрипела гравием, чтобы убедить себя, что она не подглядывает. Его окно было открыто, штора не спущена, и в ярком провале она увиде-

ла, как он снимает пиджак и, надув шею, зевает. И в тяжелом, медленном движении его плеча, которое все повторялось перед ее глазами, пока она поспешно уходила сквозь темноту к освещенной площадке перед гостиницей, ей померещилась какая-то могучая усталость после неведомых и чудных трудов.

Лужин действительно устал. Последнее время он играл много и беспорядочно, а особенно его утомила игра вслепую, довольно дорого оплачиваемое представление, которое он охотно давал. Он находил в этом глубокое наслаждение: не нужно было иметь дела со зримыми, слышимыми, осязаемыми фигурами, которые своей вычурной резьбой, деревянной своей вещественностью, всегда мешали ему, всегда ему казались грубой, земной оболочкой прелестных, незримых шахматных сил. Играя вслепую, он ощущал эти разнообразные силы в первоначальной их чистоте. Он не видел тогда ни крутой гривы коня, ни лоснящихся головок пешек, — но отчетливо чувствовал, что тот или другой воображаемый квадрат занят определенной сосредоточенной силой, так что движение фигуры представлялось ему как разряд, как удар, как молния, — и все шахматное поле трепетало от напряжения, и над

этим напряжением он властвовал, тут собирая, там освобождая электрическую силу. Так он играл против пятнадцати, двадцати, тридцати противников, и, конечно, его утомляло количество досок, оттого что больше уходило времени на игру, но эта физическая усталость была ничто перед усталостью мысли — возмездием за напряжение и блаженство, связанные с самой игрой, которую он вел в неземном измерении, орудуя бесплотными величинами. Кроме всего, в слепой игре и в победах, которые она ему давала, он находил некоторое утешение. Дело в том, что последние годы ему не везло на турнирах, возникла призрачная преграда, которая ему все мешала прийти первым. Валентинов это как-то предсказал, несколько лет тому назад, незадолго до исчезновения. «Блещи, пока блещется», — сказал он после того незабвенного турнира в Лондоне, первого после войны, когда двадцатилетний русский игрок оказался победителем. «Пока блещется, — лукаво повторил Валентинов, — а то ведь скоро конец вундеркиндству». И это было очень важно для Валентинова. Лужиным он занимался только поскольку это был феномен — явление странное, несколько уродливое, но обаятельное, как кривые ноги таксы. За все время

совместной жизни с Лужиным он безостановочно поощрял, развивал его дар, ни минуты не заботясь о Лужине-человеке, которого, казалось, не только Валентинов, но и сама жизнь проглядела. Он показывал его, как забавного монстра, богатым людям, приобретал через него выгодные знакомства, устраивал бесчисленные турниры, и только когда ему начало сдаваться, что вундеркинд превращается просто в молодого шахматиста, он привез его в Россию обратно к отцу, а потом, как некоторую ценность, увез снова, когда ему показалось, что все-таки он ошибся, что еще годика два-три осталось жить феномену. Когда и эти сроки прошли, он подарил Лужину денег, как дарят опостылевшей любовнице, и исчез, найдя новое развлечение в кинематографическом деле, в этом таинственном, как астрология, деле, где читают манускрипты и ищут звезд. И уйдя в среду бойких, речистых, жуликовато-важных людей, говорящих о философии экрана, о вкусах масс, об интимности в фильмовом преломлении и зарабатывающих при этом недурно, он выпал из мира Лужина, что для Лужина было облегчением, тем странным облегчением, которое бывает в разрешении несчастной любви. К Валентинову он привязался сразу — еще в годы шахматных

путешествий по России, а потом относился к нему так, как может сын относиться к беспечному, ускользающему, холодноватому отцу, которому никогда не скажешь, как его любишь. Валентинов занимался им только как шахматистом. Иногда в нем было что-то от тренера, вьющегося вокруг атлета, с беспощадной строгостью устанавливающего определенный режим. Так, Валентинов утверждал, что шахматисту можно курить (оттого что и в шахматах и в курении есть что-то восточное), но ни в коем случае нельзя пить, и, во время их совместного житья, в столовых больших гостиниц, огромных, пустынных в военные дни гостиниц, в случайных ресторанах, в швейцарских харчевнях и итальянских траттториях он заказывал для юноши Лужина неизменно минеральную воду. Пищу для него он выбирал легкую, чтобы мысль могла двигаться свободно, но почему-то (быть может, тоже в туманной связи с «востоком») очень поощрял Лужина в его любви к сладостям. Наконец, у него была своеобразная теория, что развитие шахматного дара связано у Лужина с развитием чувства пола, что шахматы являются особым преломлением этого чувства, и, боясь, чтобы Лужин не израсходовал драгоценную силу, не разрешил бы естественным

образом благодейственное напряжение души, он держал его в стороне от женщин и радовался его целомудренной сумрачности. Было что-то унизительное во всем этом; Лужин, вспоминая то время, с удивлением отмечал, что между ним и Валентиновым не прошло ни одного доброго человеческого слова. И все же, когда, через три года после окончательного выезда из России, ставшей такой неприятной, — Валентинов исчез, он почувствовал пустоту, отсутствие поддержки, а потом признал неизбежность случившегося, вздохнул, повернулся, задумался опять над шахматной доской. Турниры после войны стали учащаться. Он играл в Манчестере, где дряхлый чемпион Англии, после двух дней борьбы, форсировал ничью, в Амстердаме, где решающую партию проиграл, оттого что просрочил время, и противник, взволнованно крякнув, ударил по его часам, в Риме, где Турати победоносно пустил в ход свой знаменитый дебют, и во многих других городах, которые все для него были одинаковы — гостиница, таксомотор, зал в кафе или клубе. Эти города, эти ровные ряды желтых фонарей, проходивших мимо, вдруг выступавших вперед и окружавших каменного коня на площади, — были той же привычной и ненужной оболочкой,

как деревянные фигуры и черно-белая доска, и он эту внешнюю жизнь принимал как нечто неизбежное, но совершенно незанимательное. Точно так же и в одежде своей, в образе обиходного бытия, он следовал побуждениям очень смутным, ни над чем не задумываясь, редко меняя белье, машинально заводя на ночь часы, бреясь тем же лезвием, пока оно не переставало брать волос, питаясь случайно и просто, — и по какой-то печальной инерции заказывая к обеду все ту же минеральную воду, которая слегка била в нос, вызывая щекотку в углах глаз, словно слезы об исчезнувшем Валентинове. Он замечал только изредка, что существует, когда одышка, месть тяжелого тела, заставляла его с открытым ртом остановиться на лестнице, или когда болели зубы, или когда в поздний час шахматных раздумий протянутая рука, тряся спичечный коробок, не вызывала в нем дребезжания спичек, и папироса, словно кем-то другим незаметно сунутая ему в рот, сразу вырастала, утверждалась, плотная, бездушная, косная, и вся жизнь сосредоточивалась в одно желание курить, хотя Бог весть, сколько папирос было уже бессознательно выкурено. Вообще же так мутна была вокруг него жизнь и так мало усилий от него требовала, что ему казалось

иногда, что некто — таинственный, невидимый антрепренер — продолжает его возить с турнира на турнир, но были иногда странные часы, такая тишина вокруг, а выглянешь в коридор, — у всех дверей стоят сапоги, сапоги, сапоги, и в ушах шум одиночества. Когда был еще жив отец, Лужин с тоской думал о его прибытии в Берлин, о том, что нужно повидать его, помочь, говорить о чем-то, — и этот веселенький на вид старик в вязаном жилете, неловко хлопавший его по плечу, был ему невыносим, как постыдное воспоминание, от которого стараешься отделаться, щурясь и мыча сквозь зубы. Он не приехал из Парижа на похороны отца, боясь пуще всего мертвецов, гробов, венков и ответственности, связанной со всем этим, — но приехал погодя, отправился на кладбище, потоптался под дождем между могил в отяжелевших от грязи галошах, могилы отца не нашел, увидел за деревьями человека, вероятно сторожа, но странная лень и робость помешали спросить; он поднял воротник и поплелся по пустырю к ожидавшему таксомотору. Смерть отца не прервала его работы. Он готовился к берлинскому турниру с определенной мыслью найти лучшую защиту против сложного дебюта итальянца Турати, самого страшного

из будущих участников турнира. Этот игрок, представитель новейшего течения в шахматах, открывал партию фланговыми выступлениями, не занимая пешками середины доски, но опаснейшим образом влияя на центр с боков. Брезгуя благоразумным уютом рокировки, он стремился создать самые неожиданные, самые причудливые соотношения фигур. Уже однажды Лужин с ним встретился и проиграл, и этот проигрыш был ему особенно неприятен потому, что Турати, по темпераменту своему, по манере игры, по склонности к фантастической дислокации, был игрок ему родственного склада, но только пошедший дальше. Игра Лужина, в ранней его юности так поражавшая знатоков невиданной дерзостью и пренебрежением основными как будто законами шахмат, казалась теперь чуть-чуть старомодной перед блистательной крайностью Турати. Лужин попал в то положение, в каком бывает художник, который, в начале поприща усвоив новейшее в искусстве и временно поразив оригинальностью приемов, вдруг замечает, что незаметно произошла перемена вокруг него, что другие, неведомо откуда взявшись, оставили его позади в тех приемах, в которых он недавно был первым, и тогда он чувствует себя обокраденным, видит

в обогнавших его смельчаках только неблагодарных подражателей и редко понимает, что он сам виноват, он, застывший в своем искусстве, бывшем новым когда-то, но с тех пор не пошедшем вперед.

Оглядываясь на восемнадцать с лишним лет шахматной жизни, Лужин видел нагромождение побед вначале, а затем странное затишье, вспышки побед там и сям, но в общем — игру вничью, раздражительную и безнадежную, благодаря которой он незаметно прослыл за осторожного, непроницаемого, сухого игрока. И это было странно. Чем смелее играло его воображение, чем ярче был вымысел во время тайной работы между турнирами, тем ужасней он чувствовал свое бессилие, когда начиналось состязание, тем боязливее и осмотрительнее он играл. Давно вошедший в разряд лучших международных игроков, очень известный, цитируемый во всех шахматных учебниках, кандидат, среди пяти-шести других, на звание чемпиона мира, он этой благожелательной молвой был обязан ранним своим выступлениям, оставившим вокруг него какой-то смутный свет, венчик избранности, поволоку славы. Смерть отца явилась ему как вешка, по которой он мог определить прой-

денный путь. И, на минуту оглянувшись, он с некоторым содроганием увидел, как медленно он последнее время шел, и, увидев это, с угрюмой страстью погрузился в новые вычисления, придумывая и уже смутно предчувствуя гармонию нужных ходов, ослепительную защиту. Ему стало дурно ночью, в берлинской гостинице, после поездки на кладбище: сердцебиение, и странные мысли, и такое чувство, будто мозг одеревенел и покрыт лаком. Доктор, которого он в то утро повидал, посоветовал отдохнуть, уехать в тихое место, «…чтобы было кругом зелено», — сказал доктор. И Лужин, отказавшись дать обещанный сеанс игры вслепую, уехал в то очевидное место, которое ему сразу представилось, когда врач упомянул о зелени, и даже был смутно благодарен угодливому воспоминанию, которое так кстати назвало нужный курорт, взяло на себя все заботы, поместило его в уже созданную, уже готовую гостиницу.

Он действительно почувствовал себя лучше среди этой зеленой декорации, в меру красивой, дающей чувство сохранности и покоя. И вдруг, как бывает в балагане, когда расписная бумажная завеса прорывается звездообразно, пропуская живое, улыбающееся лицо, появился, невесть

откуда, человек, такой неожиданный и такой знакомый, заговорил голос, как будто всю жизнь звучавший под сурдинку и вдруг прорвавшийся сквозь привычную муть. Стараясь уяснить себе это впечатление чего-то очень знакомого, он совершенно некстати, но с потрясающей ясностью вспомнил лицо молоденькой проститутки с голыми плечами, в черных чулках, стоявшей в освещенной пройме двери, в темном переулке, в безымянном городе. И нелепым образом ему показалось, что вот это — она, что вот она явилась теперь, надев приличное платье, слегка подурнев, словно она смыла какие-то обольстительные румяна, но через это стала более доступной. Таково было первое впечатление, когда он увидел ее, когда заметил с удивлением, что с ней говорит. И ему было немного досадно, что она не совсем так хороша, как могла быть, как мерещилась по странным признакам, рассеянным в его прошлом. Он примирился и с этим и постепенно стал забывать ее смутные прообразы, но зато почувствовал успокоение и гордость, что вот с ним говорит, занимается им, улыбается ему настоящий, живой человек. И в тот день, на площадке сада, где ярко-желтые осы садились на железные столики, поводя опущенными сяжками, — когда

он вдруг заговорил о том, как некогда, мальчиком, жил в этой гостинице, Лужин начал тихими ходами, смысл которых он чувствовал очень смутно, своеобразное объяснение в любви. «Ну, расскажите что-нибудь еще», — повторила она, несмотря на то что заметила, как хмуро и скучно он замолчал.

Он сидел, опираясь на трость, и думал о том, что этой липой, стоящей на озаренном скате, можно, ходом коня, взять вон тот телеграфный столб, и одновременно старался вспомнить, о чем именно он сейчас говорил. Лакей с дюжиной пустых пивных кружек, висящих на скрюченных пальцах, пробежал вдоль крыла дома, и Лужин с облегчением вспомнил, что говорил о турнире, некогда происходившем как раз в этом крыле. Он взволновался, ему стало жарко, и круг шляпы давил виски, и это волнение было еще не совсем понятно. «Пойдемте, — сказал он. — Я вам покажу. Там теперь должно быть пусто. И прохладно». Тяжело ступая и таща за собой трость, которая шуршала по гравию и подпрыгнула на пороге, он вошел в дверь первым. «Какой неотесанный», — подумала она и поймала себя на том, что качает головой и что это чуть-чуть фальшиво, — дело совсем не в его неотесанности. «Вот, кажется,

сюда», — сказал Лужин и толкнул боковую дверь. Горел огонь, толстый человек в белом кричал что-то, и бежала башня тарелок на человеческих ногах. «Нет, дальше», — сказал Лужин и пошел по коридору. Он открыл другую дверь и чуть не упал: шли вниз ступеньки, а там — кусты и куча сору, и опасливо, дрыгающей походкой отходящая курица. «Я ошибся, — сказал Лужин, — вероятно, вот сюда, направо». Он снял шляпу, почувствовав, как на лбу горячим бисером собирается пот. Ах, как ясен был образ просторной, пустой, прохладной залы, — и как трудно было ее найти! «Вот эту дверь попробуем», — сказал он. Дверь оказалась запертой. Он несколько раз нажал ручку. «Кто там?» — вдруг сказал хриплый голос, и скрипнула постель. «Ошибка, ошибка», — забормотал Лужин и пошел дальше, потом оглянулся и остановился: он был один. «Где же она?» — сказал он вслух, топчась и озираясь. Коридор, окно в сад, на стене аппарат с квадратными оконцами для номеров. Где-то пролетел звонок. В одном из оконец криво выскочил номер. Ему стало беспокойно и смутно, точно он заблудился в дурном сне, — и он быстро пошел назад, повторяя вполголоса: «Странные шутки, странные шутки». Вышел он неожиданно в сад, и там двое сидели на скамейке

и с любопытством смотрели на него. Вдруг он услышал сверху смех, поднял лицо. Она стояла на балкончике своей комнаты и смеялась, положив локти на перила, ладони прижав к щекам и укоризненно-лукаво кивая. Она видела его большое лицо, шляпу набекрень и ждала, что он будет теперь делать. «Я не могла за вами поспеть», — крикнула она, выпрямившись и открыв руки в каком-то объяснительном жесте. Лужин опустил голову и вошел в дом. Она полагала, что он сейчас постучится к ней, и думала о том, что не впустит его, скажет, что в комнате беспорядок. Но он не постучался. Когда она спустилась ужинать, его в столовой не было. «Обиделся», — решила она и пошла спать раньше обыкновенного. Утром она вышла гулять и смотрела, не ждет ли он в саду, на скамейке, с газетой, как всегда. Его не было ни в саду, ни в галерее, и она пошла гулять без него. Когда он и к обеду не явился и за его столиком оказалась престарелая чета, давно на этот столик метившая, она спросила в конторе, не болен ли господин Лужин. «Господин Лужин сегодня утром уехал в Берлин», — ответила барышня.

Через час вернулся в гостиницу его багаж. Швейцар и мальчишка деловито и равнодушно внесли обратно чемоданы, которые утром вынес-

ли. Лужин возвращался со станции пешком, — полный, унылый господин, придавленный жарой, в белых от пыли башмаках. Он отдыхал на всех скамейках, раза два сорвал ягоду ежевики и сморщился от кислятины. Идя по шоссе, он вдруг заметил, что мелкими шажками следует за ним белокурый мальчик, с пустой бутылкой из-под пива в руке, и, нарочно его не обгоняя, смотрит на него в упор с невыносимой детской внимательностью. Лужин остановился. Мальчик остановился тоже. Лужин двинулся, мальчик тоже двинулся. Тогда он рассердился и, обернувшись, погрозил тростью. Тот замер, удивленно и радостно ухмыляясь. «Я тебя…» — густым голосом сказал Лужин и пошел на него, подняв трость. Мальчик прыгнул на месте и отбежал. Лужин, бурча и сопя, продолжал свой путь. Внезапно камушек, очень ловко пущенный, попал ему в левую лопатку. Он ахнул и обернулся. Никого, — пустая дорога, лес, вереск. «Я его убью», — громко сказал он по-немецки и пошел быстрее, стараясь вилять, как это делают (он читал где-то) люди, боящиеся выстрела в спину, и повторяя вслух свою беспомощную угрозу. Он тяжело дышал, ослабел, чуть не плакал, когда добрался до гостиницы. «Раздумал, — сказал он мимоходом, обраща-

ясь к решетке конторы. — Остаюсь, раздумал». «Наверное, у себя в комнате», — произнес он, поднимаясь по лестнице. Он вошел к ней с размаху, словно бухнул в дверь головой, и, смутно увидев ее, лежащую в розовом платье на кушетке, сказал торопливо: «Здрасте-здрасте», и кругами зашагал по комнате, предполагая, что это все выходит очень остроумно, легко, забавно, и вместе с тем задыхаясь от волнения. «Итак, продолжая вышесказанное, должен вам объявить, что вы будете моей супругой, я вас умоляю согласиться на это, абсолютно было невозможно уехать, теперь будет все иначе и превосходно», — и тут, присев на стул у парового отопления, он разрыдался, закрыв лицо руками; потом, стараясь одну руку так растопырить, чтобы она закрывала ему лицо, другою стал искать платок, и в дрожащие от слез просветы между пальцев видел двоящееся, расплывающееся розовое платье, которое с шумом надвигалось на него.

«Ну, будет, будет, — повторяла она успокаивающим голосом, — взрослый мужчина, и так плачет». Он схватил ее за локоть, поцеловал что-то холодное и твердое (часики на кисти). Она сняла с него соломенную шляпу и погладила по лбу, — и быстро отодвинулась, избегая его нелов-

ких, хватающих движений. Лужин затрубил в платок, раз, еще раз, громко и сочно; затем вытер глаза, щеки, рот и облегченно вздохнул, облокотившись на паровое отопление и глядя перед собой светлыми, влажными глазами. Ей тогда же стало ясно, что этого человека, нравится ли он тебе или нет, уже невозможно вытолкнуть из жизни, что уселся он твердо, плотно, по-видимому надолго. И вместе с тем она думала о том, как же она покажет этого человека отцу, матери, как это он будет сидеть у них в гостиной, — человек другого измерения, особой формы и окраски, не совместимый ни с кем и ни с чем.

Она сначала примеряла его так и этак к родным, к их окружению, даже к обстановке квартиры, заставляла воображаемого Лужина входить в комнаты, говорить с ее матерью, есть домашнюю кулебяку, отражаться в роскошном, купленном за границей самоваре, — и эти воображаемые посещения кончались чудовищной катастрофой, Лужин неуклюжим движением плеча сшибал дом, как валкий кусок декорации, испускающий вздох пыли. Квартира же была дорогая, благоустроенная, в бельэтаже огромного берлинского дома. Ее родители, снова разбогатев, решили зажить в строгом русском вкусе, как-то сопря-

женном со славянской вязью, с открытками, изображающими пригорюнившихся боярышень, с лакированными шкатулками, на которых красочно выжжена тройка или жар-птица, и с тем, прекрасно издававшимся, давно опочившим журналом, где бывали такие превосходные фотографии старых усадеб и фарфора. Отец говорил друзьям, что ему особенно приятно, после деловых свиданий и разговоров с людьми подозрительного происхождения, окунуться в настоящий русский уют, есть настоящую русскую пищу. Одно время прислуживал настоящий денщик, солдат, взятый из русского барака под Берлином, но ни с того ни с сего он стал необыкновенно груб и был замещен немецкой полькой. Мать, статная, полнорукая дама, называвшая самое себя бой-бабой или казаком (след смутных и извращенных реминисценций из «Войны и Мира»), превосходно играла русскую хозяйку, имела склонность к теософии и порицала радио как еврейскую выдумку. Была она очень добра и очень бестактна, искренно любила ту размалеванную, искусственную Россию, которую вокруг себя понастроила, но иногда скучала невыносимо, в точности не зная, чего ей недостает, ибо, как говорила она, свою-то Россию она вывезла.

Дочь же была совершенно равнодушна к этой лубочной квартире, столь непохожей на их тихий петербургский дом, где у мебели, у вещей была своя душа, где в киоте был незабвенный гранатовый блеск и таинственные апельсиновые цветы, где по шелку на спинке кресла была вышита толстая, умная кошка, где была тысяча мелочей, запахов, оттенков, которые все вместе составляли что-то упоительное, и раздирающее, и ничем не заменимое.

Молодые люди, бывавшие у них, считали ее очень милой, но скучноватой барышней, а мать про нее говорила (низким голосом, с усмешечкой), что она в доме представительница интеллигенции и декадентства, — потому ли, что знала наизусть стихи Бальмонта, найденные в «Чтеце-Декламаторе», или по какой другой причине — неизвестно. Отцу нравилась ее самостоятельность, тишина и особая манера опускать глаза, когда она улыбалась. Но до самого пленительного в ней никто еще не мог докопаться: это была таинственная способность души воспринимать в жизни только то, что когда-то привлекало и мучило в детстве, в ту пору, когда нюх у души безошибочен; выискивать забавное и трогательное; постоянно ощущать нестерпимую, нежную

жалость к существу, живущему беспомощно и несчастно, чувствовать за тысячу верст, как в какой-нибудь Сицилии грубо колотят тонконогого осленка с мохнатым брюхом. Когда же и в самом деле она встречала обижаемое существо, то было чувство легендарного затмения, когда наступает необъяснимая ночь, и летит пепел, и на стенах выступает кровь, — и казалось, что если сейчас — вот сейчас — не помочь, не пресечь чужой муки, объяснить существование которой в таком располагающем к счастью мире нет никакой возможности, сама она задохнется, умрет, не выдержит сердце. И потому жила она в постоянном тайном волнении, постоянно предчувствуя новое увлечение или новую жалость, и про нее говорили, что она обожает собак и всегда готова одолжить денег, — и, слушая мелкую молву, она чувствовала себя как в детстве, во время той игры, когда уходишь из комнаты, а другие выдумывают про тебя разнообразные мнения. И среди играющих, среди тех, к которым она выходила после пребывания в соседней комнате (где сидишь, ожидая, что тебя позовут, и честно напеваешь что-нибудь, чтобы только не подслушать, или открываешь случайную книгу, и, как освобожденная пружина, выскакивает кусочек

романа, конец непонятного разговора), среди этих людей, мнение которых требовалось угадать, был теперь человек, довольно молчаливый, тяжелый на подъем, совершенно неизвестно что о ней думающий. Она подозревала, что вообще никакого мнения у него нет и что он не представляет себе вовсе ее среду, обстановку ее жизни и потому может ляпнуть что-нибудь ужасное.

Решив, что она отсутствовала достаточно, она легонько провела рукой по затылку, приглаживая волосы, и улыбаясь вошла в холл. Лужин и ее мать, которых она только что познакомила, сидели в плетеных креслах под пальмой, и Лужин, насупившись, рассматривал свою неприличную соломенную шляпу, которую он держал на коленях, и в эту минуту ей было одинаково страшно подумать о том, какими словами о ней говорил Лужин (если вообще говорил), как и о том, какое впечатление сам Лужин произвел на ее мать. Накануне, как только мать приехала и стала пенять на то, что окно на север и не горит лампочка на ночном столике, она рассказала, стараясь держать слова на том же уровне, как и все предыдущие, что очень подружилась со знаменитым шахматистом Лужиным. «Наверное, псевдоним, — сказала мать, копаясь в

несессере, — какой-нибудь Рубинштейн или Абрамсон». — «Очень, очень знаменитый, — продолжала дочь, — и очень милый». — «Помоги-ка мне лучше найти мое мыло», — сказала мать. И теперь, познакомив их, оставя их наедине под предлогом заказать лимонаду, она ощущала, возвращаясь в холл, такой страх, такую непоправимость уже происшедших катастроф, что еще издали стала громко говорить, и споткнулась о край ковра, и рассмеялась, балансируя руками. Бессмысленная игра с соломенной шляпой, молчание, удивленные, блестящие глаза матери, неожиданное воспоминание о том, как он на днях плакал, обняв паровое отопление, — все это было очень тяжело вынести. Но вдруг Лужин поднял голову, его рот скривился знакомой хмурой улыбкой, — и сразу ее страх исчез, и возможная беда показалась чем-то удивительно забавным, ничего не меняющим. Лужин, как будто ожидавший ее прихода, чтобы ретироваться, крякнул, встал и, замечательным образом кивнув («похамски», — весело подумала она, переводя этот кивок на язык матери), направился к лестнице. По дороге он встретил лакея, несшего на подносе три стакана лимонаду. Он остановил его, взял один из стаканов и, осторожно держа его перед

собой, бровями вторя колеблющемуся уровню жидкости, стал медленно подниматься по лестнице. Когда он исчез за поворотом, она стала преувеличенно внимательно сдирать тонкую бумажку с соломинки. «Хам», — довольно громко сказала мать, и дочь почувствовала то удовольствие, которое бывает, когда угаданное значение иностранного слова находишь в словаре. «Это же не человек, — продолжала с сердитым изумлением мать. — Что это такое? Ведь это же не человек. Он меня называл мадам, просто мадам, как приказчик. Не человек, а Бог знает что. И у него, наверное, советский паспорт. Большевик, просто большевик. Я сидела как дура. Ну и разговорчики. Совершенно грязные манжеты. Ты заметила? Совершенно грязные и обдрипанные».

«О чем были разговорчики?» — спросила она, улыбаясь исподлобья.

«Да, мадам, нет, мадам. Тут приятная атмосфера. Атмосфера, а? Словцо-то? Я его спросила, давно ли он из России, чтоб как-нибудь разговориться. Он просто молчит. Просто молчит. Потом он сказал про тебя, что ты любишь прохладительные напитки. Прохладительные! А морда какая, морда-то. Нет, нет, подальше от таких…»

Продолжая игру в мнения, она поспешила к

Лужину. За время его неудачного отъезда успели сдать его комнату, и он был помещен в другую, повыше. Он сидел, облокотившись о стол, как будто пораженный горем, и в пепельнице мучительно дымилась недобитая папироса. На столе и на полу рассыпаны были листки, исписанные карандашом. Ей показалось мельком, что это счета, и она удивилась их количеству. Ветер, дувший в открытое окно, рванулся, когда она открыла дверь, и Лужин, выйдя из раздумья, поднял с полу листки, аккуратно сложил их, улыбаясь ей и моргая. «Ну что? Как?» — спросила она. «Оформится во время игры, — сказал Лужин. — Просто-напросто намечаю некоторые возможности». У нее было чувство, что она ошиблась дверью, попала не туда, куда метила, но в этом неожиданном мире было хорошо и не хотелось переходить в тот, где играют в мнения. Но вместо того, чтобы продолжать говорить о шахматах, Лужин, подъехав к ней вместе со стулом, взял ее за талию трясущимися от нежности руками и, не зная, что предпринять, попытался ее посадить к себе на колени. Она уперлась ему в плечи, отстраняя лицо, будто глядит на листки. «Это что?» — спросила она. «Ничего, ничего, — сказал Лужин, — запись различных партий». — «Пустите», — попросила

она тонким голосом. «Запись различных партий, запись...» — повторял Лужин, прижимая ее к себе и прищуренными глазами глядя снизу вверх на ее шею. Лицо его вдруг исказилось, глаза на миг потеряли выражение; потом черты его как-то обмякли, руки разжались сами собой, и она отошла от него, сердясь, не совсем точно зная, почему сердится, и удивленная тем, что он ее отпустил. Лужин откашлялся, жадно закурил, с непонятным лукавством следя за ней. «Я жалею, что пришла, — сказала она. — Во-первых, я вам помешала в работе...» — «Ничуть», — с неожиданной веселостью ответил Лужин и хлопнул себя по коленкам.

«Во-вторых, я, собственно, хотела узнать ваши впечатления». — «Дама большого света, — сказал Лужин, — это сразу видно».

«Послушайте, — воскликнула она, продолжая сердиться, — вы где-нибудь воспитывались? Вы где-нибудь учились? Вы вообще встречались когда-нибудь с людьми, говорили с людьми?»

«Я много вояжировал, — сказал Лужин. — Там и сям. Повсюду понемножку».

«Где я? Кто он? Что же дальше будет?» — мысленно спросила она себя и оглядела номер, стол, покрытый бумажками, смятую постель, умы-

вальник, где валялось ржавое лезвие «жиллет», полуоткрытый шкап, откуда, как змея, выползал зеленый в красных пятнах галстук. И среди этого холодного беспорядка сидел замысловатейший человек, человек, занимавшийся призрачным искусством, и она старалась остановиться, ухватиться за все его недостатки и странности, сказать себе раз навсегда, что этот человек ей не пара, — и в то же время совершенно отчетливо беспокоилась о том, как это он будет держаться в церкви, как он будет выглядеть во фраке.

7

Встречи, конечно, продолжались. Бедная дама стала со страхом замечать, что ее дочь и подозрительный господин Лужин неразлучны, — были какие-то между ними разговоры, и взгляды, и флюиды, которые она в точности не могла уловить; это показалось ей так опасно, что, преодолев отвращение, она решила Лужина держать как можно больше при себе, отчасти чтобы его хорошенько раскусить, но главное, чтобы дочь не пропадала так часто. Профессия Лужина была ничтожной, нелепой… Существование таких профессий могло быть только объяснимо проклятой современностью, современным тяготением к бессмысленному рекорду (эти аэропланы, которые хотят долететь до солнца, марафонская беготня, олимпийские игры…). Ей казалось, что в прежние времена, в России ее молодости, человек, исключительно занимавшийся шахматной игрой, был бы явлением немыслимым. Впрочем, даже и в нынешние дни такой человек был настолько странен, что у нее возникло смутное подозрение, не есть ли шахматная игра прикрытие, обман, не занимается ли Лужин чем-то совсем другим, —

и она замирала, представляя себе ту темную, преступную, — быть может, масонскую — деятельность, которую хитрый негодяй скрывает за пристрастием к невинной игре. Мало-помалу, однако, это подозрение отпало. Как ждать каверзы от такого олуха? Кроме того, он действительно был знаменит. Ее поразило и несколько раздражило, что многим хорошо знакомо имя, ей совершенно неизвестное (кроме разве как случайный звук в прошлом, связанный с дальним родственником, у которого когда-то бывал некий Лужин, петербургский помещик). Немцы, жившие в курортной гостинице, героически преодолевая трудность чуждой им шипящей, произносили это имя с уважением. Дочь показала ей последний номер берлинского иллюстрированного журнала, где в отделе загадок и крестословиц была приведена чем-то замечательная партия, недавно выигранная Лужиным. «Но разве можно увлекаться такими пустяками? — воскликнула она, растерянно глядя на дочь. — Всю жизнь ухлопать на такие пустяки… Вот, у тебя был дядя, он тоже хорошо играл во всякие игры — в шахматы, в карты, на биллиарде, — но у него была и служба, и карьера, и все». — «У него тоже карьера, — ответила дочь, — и право же, он очень

известен. Никто не виноват, что ты шахматами никогда не интересовалась». — «Фокусники тоже бывают известные», — ворчливо проговорила она, но все же призадумалась и решила про себя, что известность Лужина отчасти оправдывает его существование. Существовал он, впрочем, тяжко. Особенно ее сердило, что он постоянно ухитрялся сидеть к ней спиной. «Он спиной и говорит, спиной, — жаловалась она дочери. — Ведь у него не человеческий разговор. Уверяю тебя, тут есть что-то прямо ненормальное». Ни разу Лужин не обратился к ней с вопросом, ни разу не попытался поддержать разваливавшуюся беседу. Были незабвенные прогулки по испещренным солнцем тропинкам, где, там и сям, в приятной тени, некий заботливый гений расставил скамейки, — незабвенные прогулки, во время которых каждый шаг Лужина казался ей оскорблением. Несмотря на полноту и одышку, он вдруг развивал необычайную скорость, его спутницы отставали, мать, поджимая губы, смотрела на дочь и свистящим шепотом клялась, что, если этот рекордный бег будет продолжаться, она тотчас же, — понимаешь, тотчас же, — вернется домой. «Лужин, — звала дочь, — а, Лужин? Передохните, вы устанете». (И то, что дочь звала его

по фамилии, тоже было неприятно, — но на ее замечание та отвечала со смехом: «Так делали тургеневские девушки. Чем я хуже?») Лужин вдруг оборачивался, криво усмехался и присаживался на скамейку. Рядом стояла проволочная корзина. Он неизменно рылся в карманах, находил какую-нибудь бумажку, аккуратно ее рвал на части и бросал в корзину, после чего отрывисто смеялся. Образец его шуточек.

Все же, несмотря на совместные прогулки, ее дочь и Лужин находили время уединяться; и после таких уединений она с некоторой злобой спрашивала дочь: «Что, целуешься с ним? Целуешься? Я уверена, что целуешься». Но та только вздыхала и с притворной тоской отвечала: «Ах, мама, как ты можешь говорить такие вещи…» «Взасос», — решила она, и мужу написала, что несчастна, беспокойна, что у дочери невозможный флирт, — опасный угрюмец. Муж посоветовал вернуться в Берлин или переехать на другой курорт. «Ничего он не понимает, — подумала она. — Ну, все равно. Скоро все это кончится. Наш голубчик отбудет».

И вдруг, за три дня до отъезда Лужина в Берлин, случилась одна маленькая вещь, которая не то чтобы изменила ее отношение к Лужину,

но смутно ее тронула. Они втроем вышли пройтись. Был неподвижный августовский вечер, великолепный закат, как до конца выжатый, до конца истерзанный апельсин-королек. «А мне что-то холодно, — сказала она. — Принеси-ка мне что-нибудь». И дочь кивнула, сказала «у-хум», посасывая стебелек травы, и быстро пошла, слегка размахивая руками, обратно к гостинице.

«Хорошенькая у меня девочка, правда? Ножки стройные».

Лужин поклонился.

«Значит, вы в понедельник отбываете? А потом, после вашей игры, обратно в Париж?»

Лужин поклонился снова.

«Но в Париже вы останетесь недолго? Опять куда-нибудь пригласят выступить?»

Тут-то и произошло. Лужин огляделся и протянул трость.

«Дорожка, — сказал он. — Смотрите. Дорожка. Я шел. И вы представьте себе, кого я встретил. Кого же я встретил? Из мифов. Амура. Но не со стрелой, а с камушком. Я был поражен».

«О чем вы?» — спросила она с тревогой.

«Нет, позвольте, позвольте, — воскликнул Лужин, подняв палец. — Мне нужна аудиенция».

Он подошел к ней близко, странно приоткрыл

рот, отчего необыкновенное выражение какой-то страдальческой нежности появилось на его лице.

«Вы добрая, отзывчивая женщина, — протяжно сказал Лужин. — Честь имею просить дать мне ее руку».

Он отвернулся, как будто окончив театральную реплику, и стал тростью выдалбливать узорчик в песке.

«Вот тебе шаль», — сказал сзади нее запыхавшийся голос дочери, и шаль легла ей на плечи.

«Да нет, мне жарко, не надо, какая там шаль…»

Прогулка в тот вечер была особенно молчалива. В уме у нее пробегали все те слова, которые придется сказать Лужину, — намекнуть на финансовую сторону, — он, вероятно, небогат, занимает самую дешевую комнату в гостинице. И очень серьезно поговорить с дочерью. Немыслимый брак, глупейшая затея. Но, несмотря на все это, ей было лестно, что Лужин так взволнованно, так по-старомодному, обратился первым делом к ней.

«Произошло, поздравляю, — сказала она в тот же вечер дочери. — Не делай невинное лицо, ты отлично понимаешь. Мы желаем жениться».

«Напрасно он с тобой говорил, — ответила

дочь. — Это касается только его и меня».

«Выйти замуж за первого встречного прохвоста…» — обиженно начала она.

«Не смей, — спокойно сказала дочь. — Это не твое дело».

И то, что казалось немыслимой затеей, стало развиваться с удивительной быстротой. Накануне отъезда Лужин в длинной ночной рубашке стоял на балкончике своей комнаты, глядел на луну, которая, дрожа, выпутывалась из черной листвы, и, думая о неожиданном обороте, принимаемом его защитой против Турати, слушал сквозь эти шахматные мысли голос, который все продолжал звенеть в ушах, длинными линиями пересекал его существо, занимая все главные пункты. Это был отзвук разговора, который у него только что был с ней, — она опять сидела у него на коленях и обещала, обещала, что через два-три дня вернется в Берлин, поедет одна, если мать захочет остаться. И держать ее у себя на коленях было ничто перед уверенностью, что она последует за ним, не исчезнет, как некоторые сны, которые вдруг лопаются, разбегаются, оттого что сквозь них всплывает блестящий куполок будильника. Прижавшись плечом к его груди, она старалась осторожным пальцем повыше

поднять его веки, и от легкого нажима на глазное яблоко прыгал странный черный свет, прыгал, словно его черный конь, который просто брал пешку, если Турати ее выдвигал на седьмом ходу, как он сделал при последней встрече. Конь, конечно, погибал, но эта потеря вознаграждалась замысловатой атакой черных, и тут шансы были на их стороне. Была, правда, некоторая слабость на ферзевом фланге, скорее не слабость, а легкое сомнение, не есть ли все это фантазия, фейерверк, и выдержит ли он, выдержит ли сердце, или голос в ушах все-таки обманывает и не будет ему сопутствовать. Но луна вышла из-за угловатых черных веток — круглая, полновесная луна — яркое подтверждение победы, и когда наконец Лужин повернулся и шагнул в свою комнату, там уже лежал на полу огромный прямоугольник лунного света, и в этом свете — его собственная тень.

8

То, к чему была так равнодушна его невеста, произвело на него впечатление, которое никак нельзя было предвидеть. Пресловутую квартиру, в которой самый воздух был сарафанный, Лужин посетил сразу после того, как добыл свой первый пункт, разделавшись с очень цепким венгром; партию, правда, прервали на сороковом ходу, но дальнейшее было Лужину совершенно ясно. Он вслух прочел безликому шоферу адрес на открытке («Приехали. Ждем вас вечером») и, незаметно преодолев туманное, случайное расстояние, осторожно попробовал вытянуть кольцо из львиной пасти. Звонок подействовал сразу: дверь бурно открылась. «Как, без пальто? Не впущу...» Но он уже перешагнул через порог и махал рукой, тряс головой, стараясь справиться с одышкой. «Пфуф, пфуф», — выдохнул он, приготовившись к чудесному объятью, и вдруг заметил, что в левой, уже протянутой вбок, руке — ненужная трость, а в правой — бумажник, который он, по-видимому, нес с тех пор, как расплатился с автомобилем. «Опять в этой черной шляпище... Ну, что ж вы застыли? Вот сюда». Трость благополучно нырнула

в вазоподобную штуку; бумажник, после второго совка, попал в нужный карман; шляпа повисла на крючке. «Вот и я, — сказал Лужин, — пфуф, пфуф». Она уже была далеко, в глубине прихожей; толкнула боком дверь, протянув по ней голую руку и весело исподлобья глядя на Лужина. А над дверью, сразу над косяком, била в глаза большая, яркая, масляными красками писанная картина. Лужин, обыкновенно не примечавший таких вещей, обратил на нее внимание, потому что электрический свет жирно ее обливал, и краски поразили его, как солнечный удар. Баба в кумачовом платке до бровей ела яблоко, и ее черная тень на заборе ела яблоко побольше. «Баба», — вкусно сказал Лужин и рассмеялся. «Ну, входите, входите. Не распистоньте этот столик». Он вошел в гостиную и как-то весь обмяк от удовольствия, и его живот под бархатным жилетом, который он почему-то всегда носил во время турниров, трогательно вздрагивал от смеха. Люстра с матовыми, как леденцы, подвесками отвечала ему странно знакомым дрожанием; перед роялем, на желтом паркете, в котором отражались ножки ампирных кресел, лежала белая медвежья шкура, раскинув лапы, словно летя в блестящую пропасть пола. На многочисленных столиках, полочках,

поставцах были всякие нарядные вещицы, что-то вроде увесистых рублей серебрилось в горке, и павлинье перо торчало из-за рамы зеркала. И было много картин на стенах, — опять бабы в цветных платках, золотой богатырь на белом битюге, избы под синими пуховиками снега… Для Лужина все это слилось в умилительный красочный блеск, из которого на мгновение выскакивал отдельный предмет — фарфоровый лось или темноокая икона, — и опять весело рябило в глазах, и полярная шкура, о которую он споткнулся, отчего завернулся край, оказалась на красной подкладке с фестонами. Больше десяти лет он не был в русском доме, и, попав теперь в дом, где, как на выставке, бойко подавалась цветистая Россия, он ощутил детскую радость, желание захлопать в ладоши, — никогда в жизни ему не было так легко и уютно. «От Пасхи осталось», — убежденно сказал он, указав пятым пальцем на большое деревянное яйцо в золотых разводах (томбольный[12] выигрыш на благотворительном балу). В эту минуту белые двери распахнулись, и быстро вошел, уже протягивая на ходу руку, господин в пенсне, очень прямой, остриженный

[12] Примечания: 12
Томбола — род лотереи (*um.* tombola).

бобриком. «Милости просим, — сказал он. — Рад познакомиться». Тут же он, как фокусник, открыл кустарный портсигар с александровским орлом на крышке. «С мундштучками, — сказал Лужин, покосившись на папиросы. — Этих не курю. А вот…» Он стал рыться в карманах, извлекая толстые папиросы, высыпавшиеся из бумажного мешочка; несколько штук он уронил, и господин ловко их поднял. «Душенька, — сказал он, — дай нам пепельницу. Садитесь, пожалуйста. Виноват… ваше имя-отчество?» Хрустальная пепельница опустилась между ними, и, одновременно макнув в нее папиросы, они сшиблись кончиками. «Жадуб»[13], — добродушно сказал Лужин, выправляя согнувшуюся папиросу. «Ничего, ничего, — быстро сказал господин и выпустил две тонких струи дыма из ноздрей вдруг сузившегося носа. — Ну вот, вы в нашем богоспасаемом Берлине. Моя дочь мне рассказала, что вы приехали на состязание». Он высвободил крахмальную манжету, подбоченился и продолжал: «Я, между прочим, всегда интересовался, нет ли в шахматной игре такого хода, благодаря которому

[13] Примечания: 13

Здесь: поправляю. Шахматный термин, используемый игроком с целью предупредить, что его прикосновение к фигуре не является ходом (*фр.* J'adoube).

всегда выиграешь. Я не знаю, понимаете ли вы меня, но я хочу сказать… простите, ваше имя-отчество?» — «Нет, я понимаю, — сказал Лужин, прилежно пораздумав. — Мы имеем ходы тихие и ходы сильные. Сильный ход…» — «Так, так, вот оно что», — закивал господин. «Сильный ход, это который, — громко и радостно продолжал Лужин, — который сразу дает нам несомненное преимущество. Двойной шах, примерно, со взятием фигуры тяжелого веса, или пешка возводится в степень ферзя. И так далее. И так далее. А тихий ход…» — «Так, так, — сказал господин. — Сколько же дней приблизительно будет продолжаться состязание?» — «Тихий ход — это значит подвох, подкоп, компликация, — стараясь быть любезным и сам входя во вкус, говорил Лужин. — Возьмем какое-нибудь положение. Белые…» Он задумался, глядя на пепельницу. «К сожалению, — нервно сказал господин, — я в шахматах ничего не смыслю. Я только вас спрашивал… Но это пустяк, пустяк. Мы сейчас пройдем в столовую. Что, душенька, чай готов?» — «Да! — воскликнул Лужин. — Мы просто возьмем положение, на котором сегодня был прерван эндшпиль. Белые: король сэ-три, ладья а-один, конь дэ-пять, пешки бэ-три, сэ-четыре. Черные же…» — «Сложная

штука шахматы», — проворно вставил господин и пружинисто вскочил на ноги, стараясь пресечь поток букв и цифр, которые имели какое-то отношение к черным. «Предположим теперь, — веско сказал Лужин, — что черные сделают лучший в этом положении ход, — э-шесть жэ-пять. На это я и отвечаю следующим тихим ходом...» Лужин прищурился и почти шепотом, выпятив губы, как для осторожного поцелуя, испустил не слова, не простое обозначение хода, а что-то нежнейшее, бесконечно хрупкое. У него было то же выражение на лице — выражение человека, который сдувает перышко с лица младенца, — когда, на следующий день, он этот ход воплотил на доске. Венгр, совершенно желтый после бессонной ночи, за которую он успел проверить все варианты (приводившие к ничьей), не заметив только вот этой скрытой комбинации, крепко задумался над доской, пока Лужин, жеманно покашливая, любовно отмечал сделанный ход на листочке. Венгр скоро сдался, и Лужин сел играть с компатриотом. Партия началась интересно, и вскоре вокруг их стола образовалось плотное кольцо зрителей. Любопытство, напор, хруст суставов, чужое дыхание и, главное, шепот — шепот, прерываемый еще более громким и

раздражительным «цыс!», — часто мучили Лужина: он живо чувствовал этот хруст, и шелест, и отвратительное тепло, если не слишком глубоко уходил в шахматные бездны. Краем глаза он видел ноги столпившихся, и его почему-то особенно раздражала, среди всех этих темных штанов, пара дамских ног в блестящих серых чулках. Эти ноги явно ничего не понимали в игре, непонятно, зачем они пришли… Сизые, заостренные туфли с какими-то перехватцами лучше бы цокали по панели — подальше, подальше отсюда. Останавливая свои часы, записывая ход или отставляя взятую фигуру, он искоса посматривал на эти неподвижные ноги, и только через полтора часа, когда он выиграл партию и встал, оттягивая вниз жилет, Лужин увидел, что эти ноги принадлежат его невесте. Он ощутил острое счастье оттого, что она присутствовала при его победе, и жадно ждал исчезновения шахматных досок и всех этих шумных людей, чтобы поскорей ее погладить. Но шахматы не сразу исчезли, и даже когда появилась светлая столовая и огромный, медью сияющий самовар, сквозь белую скатерть проступали смутные, ровные квадраты, и такие же квадраты, шоколадные и кремовые, несомненно были на пироге. Мать невесты встретила его с

тем же снисходительным, слегка насмешливым благодушием, с каким встретила его накануне, когда появлением своим прервала шахматный разговор, — а вчерашний господин, по-видимому ее муж, подробно рассказывал, какое у него было образцовое имение в России. «Пойдем к вам в комнату», — хрипло шепнул Лужин невесте, и она прикусила губу и сделала большие глаза. «Пойдем же», — повторил он. Но она ловко положила ему на стеклянную тарелочку чудесного малинового варенья, и сразу подействовала эта клейкая, ослепительно-красная сладость, которая зернистым огнем переливалась на языке, душистым сахаром облипала зубы. «Мерси, мерси», — кланялся Лужин, пока ему накладывали вторую порцию, и среди гробового молчания зачмокал опять, облизывая еще горячую от чаю ложечку, боясь растерять хоть каплю упоительного сока. И когда наконец он добился своего и оказался с ней наедине, правда, не у нее в комнате, а в цветистой гостиной, он привлек ее к себе, грузно сел, держа ее за кисти, но она молча вывернулась и, закружившись, опустилась на пуф. «Я вовсе еще не решила, выйду ли я за вас замуж, — сказала она. — Помните это». — «Все решено, — сказал Лужин. — Если они не захотят,

мы их заставим силой, чтоб они подписали». — «Подписали что?» — спросила она удивленно. «А я не знаю… Ведь нужны, кажется, какие-то подписи». — «Глупый, глупый, — несколько раз повторила она. — Непроницаемая и неисправимая глупость. Ну что мне с вами делать, как мне с вами быть… И какой у вас усталый вид. Я уверена, что вам вредно так много играть». — «Ach wo[14], — сказал Лужин, — пара партишек». — «А по ночам думаете. Нельзя так. Уже поздно, знаете. Идите домой. Спать вам нужно, вот что». Он, однако, оставался сидеть на полосатом диванчике, и она подумала, что какие же это они разговоры ведут — все тяп да ляп, случайные словечки. И ни разу еще он ее не поцеловал по-настоящему, а все выходит криво, странно, и ни одно движение, которым он до нее дотрагивается, не похоже на простое человеческое объятье. Но эта сирая преданность в его глазах, этот таинственный свет, который озарял его, когда он давеча наклонялся над шахматами… И на следующий день ее опять потянуло в совершенно безмолвное помещение во втором этаже большого кафе, на узкой, шумной улице. На этот раз Лужин сразу ее заметил:

---

[14] Примечания: 14
Вот еще! (*нем.*)

он тихо разговаривал с широкоплечим бритым господином, у которого коротко остриженные волосы казались плотно надетыми на голову и мыском находили на лоб, а толстые губы облепляли, всасывали потухшую сигару. Художник, посланный газетой, поднимая и опуская лицо, как китайский болванчик, быстро рисовал этот профиль с сигарой. Мимоходом заглянув в его альбомчик, она увидела рядом с начатым Турати уже вполне готового Лужина, преувеличенно унылый нос, двойной подбородок в черных точечках и на виске знакомую прядь, которую она называла кудрей. Турати сел играть с немецким мастером, а Лужин к ней подошел и хмуро, с виноватой усмешечкой, сказал что-то длинное и несуразное. Она с удивлением поняла, что он просит ее уйти. «Я рад, я очень рад постфактум, — умоляющим тоном пояснил Лужин, — но пока… пока это как-то мешательно». Он проследил глазами, как она покорно удаляется между шахматными столиками, и, деловито кивнув самому себе, направился к доске, за которую уже усаживался его новый противник, седой англичанин, игравший с неизменным хладнокровием и неизменно проигрывавший. Ему и на этот раз не повезло, и Лужин опять победил, а на следующий

день сделал ничью, а потом снова выиграл, — и уже перестал отчетливо чувствовать грань между шахматами и невестиным домом, как будто движение ускорилось, и то, что сперва казалось чередой полос, было теперь мельканием.

Он шел, не отставая от Турати. Турати делал пункт, и он делал пункт; Турати делал половинку, и он делал половинку. Так они двигались, словно взбираясь по сторонам равнобедренного треугольника, и в решительную минуту должны были сойтись на вершине.

Ночи были какие-то ухабистые. Никак нельзя было себя заставить не думать о шахматах, хотя клонило ко сну, а потом сон никак не мог войти к нему в мозг, искал лазейки, но у каждого входа стоял шахматный часовой, и это было ужасно мучительное чувство, — что вот, сон тут как тут, но по ту сторону мозга: Лужин, томно рассеянный по комнате, спит, а Лужин, представляющий собой шахматную доску, бодрствует и не может слиться со счастливым двойником. Но что было еще хуже, — он после каждого турнирного сеанса все с большим и большим трудом вылезал из мира шахматных представлений, так что и днем намечалось неприятное раздвоение. После трехчасовой партии странно болела голова, не вся, а

частями, черными квадратами боли, и не сразу он находил дверь, заслоненную черным пятном, и не мог вспомнить адрес заветного дома: по счастью, в кармане хранилась старая, сложенная вдвое и уже рвущаяся по сгибу открытка («Приехали. Ждем вас вечером»). Он еще продолжал ощущать радость, когда входил в дом, полный русских игрушек, но радость тоже была пятнами. И как-то, в день передышки, он пришел раньше обыкновенного, и дома была только сама хозяйка. Она решила продолжить разговор, бывший на закате в буковой роще, и, преувеличивая свою, весьма ценимую ею самой, способность резать правду-матку (за что молодые люди, посещавшие ее дом, считали ее большой умницей и очень ее боялись), она насела на Лужина, первым делом отчитала его за окурки, находимые во всех вазочках и даже в пасти распластанного медведя, а затем предложила ему нынче же, в субботний вечер, принять у них ванну, после того как выкупается муж. «Редко, наверное, моетесь, — сказала она без обиняков. — Редко? Признайтесь-ка». Лужин мрачно пожал плечами, глядя на пол, где происходило легкое, ему одному приметное движение, недобрая дифференциация теней. «И вообще, — продолжала она, — надо подтянуться».

И, таким образом создав необходимое настроение у слушателя, она перешла к самому главному. «Скажите, — спросила она, — я думаю, вы успели очень развратить мою девочку? Такие, как вы, большие развратники. А она у меня чистая, не то что нынешние. Скажите, ведь вы развратник, развратник?» — «Нет, мадам», — со вздохом ответил Лужин и затем поморщился, быстро провел подошвой по полу, стирая некоторое, уже совсем определенное, сгущение. «Я ведь вас вовсе не знаю, — продолжал быстрый, звучный голос. — Мне придется навести справки, — да-да, справки, — не больны ли вы какой-нибудь такой болезнью». — «Одышка, — сказал Лужин. — И еще — маленький ревматизм». — «Я не про то говорю, — сухо перебила она. — Дело серьезное. Вы, по-видимому, считаете себя женихом, бываете у нас, уединяетесь. Но я не думаю, чтобы скоро могла быть речь о свадьбе». — «А в прошлом году был геморрой», — скучно сказал Лужин. «Послушайте, я с вами говорю об очень важных вещах. Вы, вероятно, хотели бы жениться уже сегодня, сейчас. Знаю я вас. Потом будет она ходить с брюхом, замучите ее сразу». Лужин, вытоптав в одном месте тень, с тоской увидел, что далеко от того места, где он сидит, происходит на полу

новая комбинация. «Если вы хоть немножко интересуетесь моим мнением, то должна вам сказать, что считаю этот брак чепухой. Кроме того, вы, вероятно, думаете, что мой муж будет вас содержать. Признайтесь: думаете?» — «Я испытываю стеснение в капиталах, — сказал Лужин. — Я бы совсем немножко брал. И мне предлагали вести шахматный отдел в одном журнале…» Тут неприятности на полу так обнаглели, что Лужин невольно протянул руку, чтобы увести теневого короля из-под угрозы световой пешки. И вообще, с этого дня он стал избегать сидеть в гостиной, где было слишком много всяких деревянных вещиц, принимавших, если долго смотреть на них, очень определенные очертания. Его невеста замечала, как, с каждым турнирным днем, он все хуже и хуже выглядит. Мутно-фиолетовые оттенки появились у него вокруг глаз, а тяжелые веки были воспалены. Он был так бледен, что всегда казался плохо выбритым, хотя, по настоянию невесты, брился каждое утро. Окончание турнира ожидалось ею с большим нетерпением, и ей было больно думать, какие страшные, вредные для него усилия должен он делать, добывая каждое очко. Бедный Лужин, таинственный Лужин… Играя утром в теннис с приятельницей немкой,

слушая давно приевшиеся лекции по истории искусства, перелистывая у себя в комнате потрепанные, разношерстные книжки: андреевский «Океан», роман Краснова, брошюру «Как сделаться иогом», она все время сознавала, что вот сейчас Лужин погружен в шахматные вычисления, борется, мучится, и ей было немного обидно, что она не может разделить муки его искусства. В его гениальность она верила безусловно, а кроме того, была убеждена, что эта гениальность не может исчерпываться только шахматной игрой, как бы чудесна она ни была, и что, когда пройдет турнирная горячка и Лужин успокоится, отдохнет, в нем заиграют какие-то еще неведомые силы, он расцветет, проснется, проявит свой дар и в других областях жизни. Ее отец называл Лужина узким фанатиком, но добавлял, что это несомненно очень наивный и очень порядочный человек. Мать же утверждала, что Лужин не по дням, а по часам сходит с ума, что умалишенным по закону запрещено жениться, и первые дни скрывала невероятного жениха от всех своих знакомых, что было сначала легко, — думали, что она с дочерью на курорте — но потом, очень скоро, появились опять все те люди, которые обыкновенно у них в доме бывали, — как например: очаровательный

старенький генерал, всегда доказывавший, что не России нам жаль, а молодости, молодости; двое русских немцев; Олег Сергеевич Смирновский, теософ и хозяин ликерной фабрики; несколько бывших офицеров; несколько барышень; певица Воздвиженская; чета Алферовых; а также престарелая княгиня Уманова, которую называли пиковой дамой (по известной опере). Она-то первая и увидала Лужина и заключила из поспешного и невразумительного разъяснения хозяйки дома, что он имеет какое-то отношение к литературе, к журналам, — сочинитель, одним словом. «А вот это вы знаете? — спросила она, учтиво завязав литературный разговор. — Из новой поэзии… немного декадентское… что-то о васильках, “всё васильки, васильки”…» Олег Сергеевич немедленно попросил его сыграть с ним партию в шахматы, но, к сожалению, шахмат в доме не оказалось. Молодые люди между собой прозвали его шляпой, и только старенький генерал отнесся к нему с сердечнейшей простотой и долго увещевал его пойти посмотреть на маленького жирафа, только что родившегося в зоологическом саду. Лужин, с тех пор как стали приходить гости, появлявшиеся теперь каждый вечер в различных комбинациях, ни минуты не

мог остаться один с невестой, и борьба с ними, стремление проникнуть через их гущу к невесте немедленно приобрели шахматный оттенок. Однако побороть их оказалось невозможно, появлялись все новые и новые, и ему мерещилось, что они же, эти бесчисленные, безликие гости, плотно и жарко окружают его в часы турнира.

Объяснение всему происходившему пришло как-то утром, когда он сидел на стуле посреди номера и старался сосредоточить мысль только на одном: вчера сделан десятый пункт, сегодня предстоит выиграть у Мозера. Вдруг к нему вошла невеста. «Прямо какой-то божок, — рассмеялась она. — Сидит посередке, и к нему приходят с жертвоприношениями». Она протянула ему коробку шоколадных конфет, и внезапно смех с ее лица исчез. «Лужин, — крикнула она, — Лужин, проснитесь! Что с вами?» — «Реальность?» — тихо и недоверчиво спросил Лужин. «Конечно, реальность. Что за манера поставить стул посреди комнаты и усесться. Если вы сейчас не встряхнетесь, я уйду». Лужин покорно встряхнулся, поводя головой и плечами, потом пересел на кушетку, и еще не совсем утвердившееся, не совсем верное счастье заскользило в его глазах. «Скажите, когда это кончится? — спросила она. — Сколько еще

партий?» — «Штучки три», — ответил Лужин. «Я сегодня читала в газете, что вы должны выиграть турнир, что вы этот раз играете необычайно». — «Но есть Турати», — сказал Лужин и поднял палец. «Меня тошнит», — добавил он грустно. «Тогда никаких конфет», — быстро сказала она и взяла квадратный пакет опять под мышку. «Лужин, я позову к вам доктора. Вы же просто умрете, если будет так продолжаться». — «Нет-нет, — сказал он сонно. — Уже прошло. Не надо доктора». — «Меня это волнует. Еще, значит, до пятницы, до субботы… этот ад. А у нас дома довольно мрачно. Все согласны с мамой, что нельзя мне за вас выйти. Почему же вас тошнило, съели что-нибудь такое?» — «Прошло же, абсолютно», — протянул Лужин и опустил голову к ней на плечо. «Вы просто очень устали, бедный. Неужели вы сегодня будете играть?» — «В три часа. Против Мозера. Я вообще играю… как было сказано?» — «Необычайно», — улыбнулась она. Голова, лежавшая у нее на плече, была большая, тяжелая, — драгоценный аппарат со сложным, таинственным механизмом. И через минуту она заметила, что он уснул, и стала думать, как теперь переложить его голову на какую-нибудь подушку. Очень осторожными движениями

ей удалось это сделать; он теперь полулежал на кушетке, неудобно согнувшись, и голова на подушке была как восковая. На мгновение ее охватил ужас, не умер ли он внезапно, она даже тронула его кисть, мягкую и теплую. Когда она разогнулась, то почувствовала боль в плече. «Тяжелая голова», — шепнула она, глядя на спящего, и тихо вышла из комнаты, унося неудачный свой подарок. Горничную, встреченную в коридоре, она просила Лужина разбудить через час и, беззвучно спустившись по лестнице, направилась по солнечным улицам в теннисный клуб, — и поймала себя на том, что все еще старается не шуметь, не делать резких движений. Горничной будить Лужина не пришлось, — он проснулся сам и сразу начал усиленно вспоминать прелестный сон, который ему приснился, — зная по опыту, что если сразу не начнешь вспоминать, то уже потом будет поздно. А видел он во сне, будто странно сидит, — посредине комнаты, — и вдруг, с нелепой и блаженной внезапностью, присущей снам, входит его невеста, протягивая коробку, перевязанную красной ленточкой. Одета она тоже по моде сновидений — белое платье, беззвучные белые туфли. Он хотел обнять ее, но вдруг затошнило, закружилась голова, невеста

тем временем рассказывала, что необычайно пишут о нем в газетах, но что мать все-таки не хочет, чтобы они поженились. Вероятно, было еще много, много чего, но память не успела догнать уплывавшее, — и, стараясь по крайней мере не растерять того, что ему удалось вырвать у сновидения, Лужин осторожно задвигался, пригладил волосы, позвонил, чтобы принесли ему обед. После обеда пришлось засесть за игру, и в этот день мир шахматных представлений проявил ужасную власть. Он играл без передышки четыре часа и победил, но когда уже сел в таксомотор, то по пути забыл, куда отправляется, забыл, какой адрес дал прочесть шоферу («…вас вечером»), и с интересом ждал, где автомобиль остановится.

Дом он, впрочем, узнал, — и опять были гости, гости, — но вдруг Лужин понял, что он просто вернулся в недавний сон, ибо невеста шепотом спросила его: «Ну что, не тошнит больше?» — и как же она могла об этом знать наяву? «В хорошем сне мы живем, — сказал он ей тихо. — Я ведь все понял». Он посмотрел вокруг себя, увидел стол и лица сидящих, отражение их в самоваре — в особой самоварной перспективе — и с большим облегчением добавил: «Значит, и это тоже сон? эти господа — сон? Ну-ну…» — «Тише, тише, что

вы лопочете», — беспокойно зашептала она, и Лужин подумал, что она права, не надо спугивать сновидение, пусть они посидят, эти люди, до поры до времени. Но самым замечательным в этом сне было то, что кругом, по-видимому, Россия, из которой сам спящий давненько выехал. Жители сна, веселые люди, пившие чай, разговаривали по-русски, и сахарница была точь-в-точь такая же, как та, из которой он черпал сахарную пудру на веранде, в летний малиновый вечер, много лет тому назад. Это возвращение в Россию Лужин отметил с интересом, с удовольствием. Оно его забавляло, главным образом, как остроумное повторение известной идеи, что бывает, например, когда в живой игре на доске повторяется в своеобразном преломлении чисто задачная комбинация, давно открытая теорией.

Все время, однако, то слабее, то резче, проступали в этом сне тени его подлинной шахматной жизни, и она наконец прорвалась наружу, и уже была просто ночь в гостинице, шахматные мысли, шахматная бессонница, размышления над острой защитой, придуманной им против дебюта Турати. Он ясно бодрствовал, ясно работал ум, очищенный от всякого сора, понявший, что все, кроме шахмат, только очаровательный сон, в

котором млеет и тает, как золотой дым луны, образ милой, ясноглазой барышни с голыми руками. Лучи его сознания, которые, бывало, рассеивались, ощупывая окружавший его не совсем понятный мир, и потому теряли половину своей силы, теперь окрепли, сосредоточились, когда этот мир расплылся в мираж, и уже не было надобности о нем беспокоиться. Стройна, отчетлива и богата приключениями была подлинная жизнь, шахматная жизнь, и с гордостью Лужин замечал, как легко ему в этой жизни властвовать, как все в ней слушается его воли и покорно его замыслам. Некоторые партии, им сыгранные на берлинском турнире, были знатоками тогда же названы бессмертными. Одну он выиграл, пожертвовав последовательно ферзем, ладьей, конем; в другой занял такую динамическую позицию одной своей пешкой, что она приобрела совершенно чудовищную силу и все росла, вздувалась, тлетворная для противника, как злокачественный нарыв в самом нежном месте доски; в третьей, наконец, партии Лужин, сделав бессмысленный на вид ход, возбудивший ропот среди зрителей, построил противнику сложную ловушку, которую тот разгадал слишком поздно. В этих партиях и во всех остальных, сыгранных

им на этом незабываемом турнире, чувствовалась поразительная ясность мысли, беспощадная логика. Но и Турати играл превосходно, Турати тоже делал пункт за пунктом, несколько гипнотизируя противника дерзостью воображения и слишком, быть может, доверяясь шахматной фортуне, не покидавшей его до сих пор. Его встреча с Лужиным решала, кому достанется первый приз, и были те, которые говорили, что прозрачность и легкость лужинской мысли одержат верх над мятежной фантазией итальянца, и были те, которые предсказывали, что огненный, нахрапом берущий Турати победит дальнозоркого русского игрока. И день этой встречи настал.

Лужин проснулся, полностью одетый, даже в пальто, посмотрел на часы, поспешно встал и надел шляпу, валявшуюся посреди комнаты. Тут он спохватился и оглядел комнату, стараясь понять, на чем же он, собственно говоря, спал? Постель его не смята, и бархат кушетки совершенно гладок. Единственное, что он знал достоверно, это то, что спокон века играет в шахматы, — и в темноте памяти, как в двух зеркалах, отражающих свечу, была только суживающаяся, светлая перспектива: Лужин за шахматной доской, и опять Лужин за шахматной доской, только поменьше, и потом

еще меньше, и так далее, бесконечное число раз. Но он опоздал, опоздал, надо торопиться. Он быстро отпер дверь и в недоумении остановился. По его представлению, тут сразу должен был находиться шахматный зал, и его столик, и ожидающий Турати. Вместо этого был пустой коридор и дальше — лестница. Вдруг оттуда, со стороны лестницы, появился быстро несущийся человечек и, увидев Лужина, развел руками. «Маэстро, — воскликнул он, — что ж это такое! Вас ждут, вас ждут, маэстро… Я три раза вам телефонил, и все говорят, что вы не отвечаете на стук. Синьор Турати давно на месте». — «Убрали, — кисло сказал Лужин, указав тростью на пустой коридор. — Я не мог знать, что все передвинулось». — «Если вы себя плохо чувствуете…» — начал человечек, с тоской глядя на бледное, лоснящееся лицо Лужина. «Ну, ведите меня!» — тонким голосом крикнул Лужин и стукнул тростью об пол. «Пожалуйста, пожалуйста», — растерянно забормотал тот. Глядя только на пальтишко с поднятым воротником, бегущее перед ним, Лужин стал преодолевать непонятное пространство. «Пешком, — говорил вожатый, — это же ровно минута ходьбы». Он узнал с облегчением стеклянные, вращающиеся двери кафе и потом лестницу и

наконец увидел то, чего искал в коридоре гостиницы. Войдя, он сразу почувствовал полноту жизни, покой, ясность, уверенность. «Ну и победа будет», — громко сказал он, и толпа туманных людей расступилась, пропуская его. «Тар, тар, третар»[15], — затараторил, качая головой, внезапно возникший Турати. «Аванти»[16], — сказал Лужин и засмеялся. Между ними оказался столик, на столе доска с фигурами, расставленными для боя. Лужин вынул из жилетного кармана папиросу и бессознательно закурил.

Тут произошла странная вещь. Турати, хотя и получил белые, однако не пустил в ход своего громкого дебюта, и защита, выработанная Лужиным, пропала даром. Предугадал ли Турати возможное осложнение или просто решил играть осторожно, зная спокойную силу, проявляемую Лужиным на этом турнире, но начал он трафаретнейшим образом. Лужин мельком пожалел о напрасной своей работе, однако и обрадовался: так выходило свободнее. Кроме того, Турати, по-видимому, боялся его. С другой же стороны, в невинном, вялом начале, предложенном Ту-

---

[15] Примечания: 15
Поздно, поздно, очень поздно (*фр.* tard, tard, très tard).

[16] Примечания: 16
Вперед (*ит.* avanti).

рати, несомненно скрывался какой-то подвох, и Лужин принялся играть особенно осмотрительно. Сперва шло тихо, тихо, словно скрипки под сурдинку. Игроки осторожно занимали позиции, кое-что выдвигали вперед, но вежливо, без всякого признака угрозы, — а если угроза и была, то вполне условная, — скорее намек противнику, что вон там хорошо бы устроить прикрытие, и противник, с улыбкой, словно это было все незначительной шуткой, укреплял где нужно и сам чуть-чуть выступал. Затем, ни с того ни с сего, нежно запела струна. Это одна из сил Турати заняла диагональную линию. Но сразу и у Лужина тихохонько наметилась какая-то мелодия. На мгновение протрепетали таинственные возможности, и потом опять — тишина: Турати отошел, втянулся. И снова некоторое время оба противника, будто и не думая наступать, занялись прихорашиванием собственных квадратов, — что-то у себя пестовали, переставляли, приглаживали, — и вдруг опять неожиданная вспышка, быстрое сочетание звуков: сшиблись две мелкие силы, и обе сразу были сметены: мгновенное виртуозное движение пальцев, и Лужин снял и поставил рядом на стол уже не бесплотную силу, а тяжелую желтую пешку; сверкнули в воз-

духе пальцы Турати, и в свою очередь опустилась на стол косная черная пешка с бликом на голове. И, отделавшись от этих двух внезапно одеревеневших шахматных величин, игроки как будто успокоились, забыли мгновенную вспышку: на этом месте доски, однако, еще не совсем остыл трепет, что-то все еще пыталось оформиться… Но этим звукам не удалось войти в желанное сочетание, — какая-то другая, густая, низкая нота загудела в стороне, и оба игрока, покинув еще дрожавший квадрат, заинтересовались другим краем доски. Но и тут все кончилось впустую. Трубными голосами перекликнулись несколько раз крупнейшие на доске силы, — и опять был размен, опять преображение двух шахматных сил в резные, блестящие лаком куклы. И потом было долгое, долгое раздумье, во время которого Лужин из одной точки на доске вывел и проиграл последовательно десяток мнимых партий, и вдруг нащупал очаровательную, хрустально-хрупкую комбинацию, — и с легким звоном она рассыпалась после первого же ответа Турати. Но и Турати ничего не мог дальше сделать, и, выигрывая время, — ибо время в шахматной вселенной беспощадно, — оба противника несколько раз повторили одни и те же два хода, угроза и защи-

та, угроза и защита, — но при этом оба думали о сложнейшей комбинации, ничего общего не имевшей с этими механическими ходами. И Турати наконец на эту комбинацию решился, — и сразу какая-то музыкальная буря охватила доску, и Лужин упорно в ней искал нужный ему отчетливый маленький звук, чтобы в свою очередь раздуть его в громовую гармонию. Теперь все на доске дышало жизнью, все сосредоточилось на одном, туже и туже сматывалось; на мгновение полегчало от исчезновения двух фигур, и опять — фуриозо. В упоительных и ужасных дебрях бродила мысль Лужина, встречая в них изредка тревожную мысль Турати, искавшую того же, что и он. И оба одновременно поняли, что белые не должны дальше развивать свой замысел, вот-вот сейчас потеряют ритм. Турати поспешил предложить размен, и число сил на доске снова уменьшилось. Новые наметились возможности, но еще никто не мог сказать, на чьей стороне перевес. Лужин, подготовляя нападение, для которого требовалось сперва исследовать лабиринт вариантов, где каждый его шаг будил опасное эхо, надолго задумался: казалось, еще одно последнее не имоверное усилие, и он найдет тайный ход победы. Вдруг что-то произошло вне его суще-

ства, жгучая боль, — и он громко вскрикнул, тряся рукой, ужаленной огнем спички, которую он зажег, но забыл поднести к папиросе. Боль сразу прошла, но в огненном просвете он увидел что-то нестерпимо страшное, он понял ужас шахматных бездн, в которые погружался, и невольно взглянул опять на доску, и мысль его поникла от еще никогда не испытанной усталости. Но шахматы были безжалостны, они держали и втягивали его. В этом был ужас, но в этом была и единственная гармония, ибо что есть в мире, кроме шахмат? Туман, неизвестность, небытие… Он заметил вдруг, что Турати уже не сидит, а стоит, заломив руки. «Перерыв, маэстро, — сказал голос сзади. — Запишите ход». — «Нет, нет, еще», — умоляюще сказал Лужин, ища глазами говорившего. «Перерыв», — повторил тот же голос, опять сзади, такой вертлявый голос. Лужин хотел встать и не мог. Он увидел, что куда-то назад отъехал со своим стулом, а что на доску, на шахматную доску, где была только что вся его жизнь, хищно накинулись какие-то люди и, ссорясь и галдя, быстро переставляют так и этак фигуры. Он опять попытался встать и опять не мог. «Зачем, зачем?» — жалобно проговорил он, стараясь разглядеть доску меж склоненных над

ней черных, узких спин. Они сузились совсем и исчезли. На доске были спутаны фигуры, валялись кое-как, безобразными кучками. Прошла тень и, остановившись, начала быстро убирать фигуры в маленький гроб. «Кончено», — сказал Лужин и со стоном усилия оторвался от стула. Кое-какие призраки еще стояли там и тут, обсуждая что-то. Было холодно и темновато. Призраки уносили доски, стулья. В воздухе, куда ни посмотришь, бродили извилистые, прозрачные шахматные образы, — и Лужин, поняв, что завяз, заплутал в одной из комбинаций, которые только что продумывал, сделал отчаянную попытку высвободиться, куда-нибудь вылезти, — хотя бы в небытие. «Идемте, идемте», — крикнул ему кто-то и со звоном исчез. Он остался один. Становилось все темней в глазах, и по отношению к каждому смутному предмету в зале он стоял под шахом, — надо было спасаться. Он двинулся, трясясь всем своим полным телом, и никак не мог сообразить, как делают, чтобы выйти из комнаты, — а ведь есть какой-то простой метод… Черная тень с белой грудью вдруг стала увиваться вокруг него, подавая пальто и шляпу. «Зачем это нужно?» — забормотал он, влезая в рукава и кружась вместе с услужливой тенью.

«Сюда», — бодро сказала тень, и Лужин шагнул вперед и вышел из страшного зала. Увидев лестницу, он стал ползти вверх, но потом передумал и пошел вниз, так как было легче спускаться, чем карабкаться. Он попал в дымное помещение, где сидели шумные призраки. В каждом углу зрела атака, — и, толкая столики, ведро, откуда торчала стеклянная пешка с золотым горлом, барабан, в который бил, изогнувшись, гривастый шахматный конь, он добрался до стеклянного, тихо вращающегося сияния и остановился, не зная, куда дальше идти. Его окружили, что-то хотели с ним делать. «Уходите, уходите», — повторял сердитый голос. «Куда же?» — рыдая, проговорил Лужин. «Идите домой», — вкрадчиво шепнул другой голос, и что-то толкнуло Лужина в плечо. «Как вы сказали?» — переспросил он, вдруг перестав всхлипывать. «Домой, домой», — повторил голос, и стеклянное сияние, захватив Лужина, выбросило его в прохладную полутьму. Лужин улыбался. «Домой, — сказал он тихо. — Вот, значит, где ключ комбинации».

И надо было поторапливаться. С минуты на минуту шахматные заросли могли его снова оцепить. Пока же была кругом сумеречная муть, глухой ватный воздух. У призрака, шмыгнувшего

мимо, он спросил дорогу на мызу. Призрак ничего не понял, прошел. «Один момент», — сказал Лужин, но было уже поздно. Тогда, покачивая короткими своими руками, он ускорил шаг. Проплыл бледный огонь и рассыпался с печальным шелестом. Трудно, трудно было найти дорогу домой в этом мягком тумане. Лужин чувствовал, что нужно взять налево и там будет большой лес, а уж в лесу он легко найдет тропинку. Опять шмыгнула мимо тень. «Где лес, лес? — настойчиво спросил Лужин и, так как это слово не вызвало ответа, попробовал найти синоним: — Бор? Вальд?[17] — пробормотал он. — Парк?» — добавил он снисходительно. Тогда тень указала налево и скрылась. Лужин, коря себя за медлительность, ежеминутно предчувствуя погоню, зашагал по указанному направлению. И точно: деревья неожиданно обступили его, шуршал папоротник под ногами, было сыро и тихо. Он тяжело опустился, присел, очень уж запыхался, и слезы лились по лицу. Погодя он встал, снял с колена мокрый лист и, побродив между стволами, нашел знакомую тропинку. «Марш, марш», — подгонял себя Лужин, шагая по вязкой земле. Полпути было

[17] Примечания: 17
Лес (*нем.* Wald).

уже сделано. Сейчас появится река и лесопильный завод, и через голые кусты глянет усадьба. Он спрячется там, будет питаться из больших и малых стеклянных банок. Таинственная погоня далеко позади. Теперь уж его не поймаешь. Нет-нет. Если б только легче было дышать и прошла бы эта боль в висках, одуряющая боль… Тропинка, поюлив в лесу, вылилась в поперечную дорогу, а дальше, в темноте, поблескивала река. Увидел он и мост, и на том берегу смутное нагромождение, и сперва, на один миг, ему показалось, что вон там, на темном небе, знакомая треугольная крыша усадьбы, черный громоотвод. Но сразу он понял, что это какая-то тонкая уловка со стороны шахматных богов, ибо на перилах моста выросли мокрые от дождя, дрожащие голые великанши, и невиданный отблеск запрыгал в реке. Он пошел берегом, стараясь найти другой мост, тот мост, где по щиколку утопаешь в опилках. Искал он долго и наконец, совсем в стороне, нашел мостик, узенький и тихий, и подумал, что тут можно по крайней мере спокойно перейти. Но на том берегу все было незнакомо, пробегали огни, скользили тени. Он знал, что усадьба где-то тут, под боком, но подходил-то он к ней с незнакомой стороны, и так это было все трудно… Ноги от пяток до бедер

были плотно налиты свинцом, как налито свинцом основание шахматной фигуры. Понемногу исчезали огни, редели призраки, и волна тяжкой черноты поминутно его заливала. При каком-то последнем отблеске он разглядел палисадник, круглые кусты, и ему показалось, что он узнает дачу мельника. Он потянулся к решетке, но тут торжествующая боль стала одолевать его, давила, давила сверху на темя, и он как будто сплющивался, сплющивался, сплющивался и потом беззвучно рассеялся.

9

Панель скользнула, поднялась под прямым углом и качнулась обратно. Он разогнулся, тяжело дыша, а его товарищ, поддерживая его и тоже качаясь, повторял: «Гюнтер, Гюнтер, попробуй же идти». Гюнтер выпрямился совсем, и после этой короткой, уже не первой остановки они оба пошли дальше по ночной пустынной улице, которая то плавно поднималась к звездам, то уходила вниз. Гюнтер, крепкий и крупный, выпил больше товарища: тот, по имени Курт, поддерживал спутника как мог, хотя пиво громовым дактилем звучало в голове. «Где дру… где дру… — тоскливо силился спросить Гюнтер. — Где дру…гие?» Еще так недавно они все сидели вокруг дубового стола, празднуя пятую годовщину окончания школы, хорошо так пели и с густым звоном чокались, человек тридцать, пожалуй, и все счастливые, трезвые, весь год прекрасно работавшие, а теперь, как только стали расходиться по домам, так сразу — тошнота, и темнота, и безнадежно валкая панель. «Другие там», — сказал Курт с широким жестом, который неприятно призвал к жизни ближайшую стену: она наклонилась

и медленно выпрямилась опять. «Разъехались, разошлись», — грустно пояснил Курт. «А впереди нас Карл», — медленно и отчетливо произнес Гюнтер, и упругим пивным ветром обоих качнуло в сторону: они остановились, отступили на шаг и опять пошли дальше. «Я тебе говорю, что там Карл», — обиженно повторил Гюнтер. И действительно, на краю панели сидел с опущенной головой человек. Они не рассчитали шага, и их пронесло мимо. Когда же им удалось подойти, то человек зачмокал губами и медленно повернулся к ним. Да, это был Карл, но какой Карл, — лицо без выражения, большие, опустевшие глаза. «Я просто отдыхаю, — тусклым голосом сказал он. — Сейчас буду продолжать». Вдруг по пустынному асфальту медленно прокатил таксомотор с поднятым флажком. «Остановите его, — сказал Карл. — Пускай он меня отвезет». Автомобиль подъехал. Гюнтер валился на Карла, стараясь ему помочь подняться, Курт тянул чью-то ногу в сером гетре. Шофер все это поощрял добродушными словами, потом слез и тоже стал помогать. Вяло барахтавшееся тело было втиснуто в пройму дверцы, и автомобиль сразу отъехал. «А нам близко», — сказал Курт. Стоявший с ним рядом вздохнул, и Курт, посмотрев на него, увидел, что

это Карл, а увезли-то, значит, Гюнтера. «Я помогу тебе, — сказал он виновато. — Пойдем». Карл, глядя перед собой пустыми, детскими глазами, склонился к нему, и оба двинулись, стали переходить на ту сторону по волнующемуся асфальту. «А вот еще», — сказал Курт. На панели, у решетки палисадника, лежал согнувшись толстый человек без шляпы. «Это, вероятно, Пульвермахер, — пробормотал Курт. — Ты знаешь, он очень за эти годы изменился». — «Это не Пульвермахер, — ответил Карл, садясь на панель рядом. — Пульвермахер лысый». — «Все равно, — сказал Курт. — Его тоже надо отвезти». Они попытались приподнять человека за плечи и потеряли равновесие. «Не сломай решетку», — предупредил Карл. «Надо отвезти, — повторил Курт. — Это, может быть, брат Пульвермахера. Он тоже там был».

Человек, по-видимому, спал, и спал крепко. Он был в черном пальто с бархатными полосками на отворотах. Полное лицо с тяжелым подбородком и выпуклыми веками лоснилось при свете уличного фонаря. «Подождем таксомотора», — сказал Курт и последовал примеру Карла, который присел на край панели. «Эта ночь кончится, — уверенно сказал он и добавил, взглянув на небо: — Как они кружатся». — «Звезды», — объ-

яснил Карл, и оба некоторое время неподвижно глядели ввысь, где в чудесной бледно-сизой бездне дугообразно текли звезды. «Пульвермахер тоже смотрит», — после молчания сказал Курт. «Нет, спит», — возразил Карл, взглянув на полное, неподвижное лицо. «Спит», — согласился Курт.

Скользнул по асфальту свет, и тот же добродушный таксомотор, отвезший Гюнтера куда-то, мягко пристал к панели. «Еще один? — засмеялся шофер. — Можно было и сразу». — «Куда же?» — сонно спросил Карл у Курта. «Какой-нибудь адрес… в кармане», — туманно ответил тот. Пошатываясь и непроизвольно кивая, они нагнулись над неподвижным человеком, и то, что пальто его было расстегнуто, облегчило им дальнейшие изыскания. «Бархатный жилет, — сказал Курт. — Бедняга, бедняга…» В правом же кармане они нашли сложенную вдвое открытку, которая расползлась у них в руках, и одна половинка с адресом получателя выскользнула и бесследно пропала. На оставшейся половинке нашелся, однако, еще другой адрес, написанный поперек открытки и жирно подчеркнутый. На обороте была всего одна ровная строчка, слева прерванная, но даже если б и удалось приставить отвалившуюся и потерянную половинку, то вряд ли смысл

этой строчки стал бы яснее. «Бак берепом», — прочел Курт по системе «реникса»[18], что было простительно. Адрес, найденный на открытке, был сказан шоферу, и затем пришлось втаскивать безжизненное, тяжелое тело в автомобиль, и опять шофер пришел на помощь. На дверце, при свете фонаря, мелькнули крупные шахматные квадраты — гербовые цвета таксомоторов. Наконец плотно наполненный автомобиль двинулся.

Карл по дороге уснул. Тело его, и тело неизвестного, и тело Курта, сидевшего на полу, приходили в мягкие, безвольные соприкосновения при каждом повороте, и затем Курт оказался на сидении, а Карл и большая часть неизвестного на полу. Когда автомобиль остановился и шофер открыл дверцу, то не мог первое время разобрать, сколько людей в автомобиле. Карл проснулся сразу, но человек без шляпы был по-прежнему неподвижен. «Интересно, что вы теперь будете делать с вашим другом», — сказал шофер. «Его, вероятно, ждут», — сказал Курт. Шофер, полагая, что свое дело он выполнил и достаточно за ночь поносил всяких тяжестей, поднял флажок и объявил сум-

[18] Примечания: 18

Отсылка к «Трем сестрам» А. П. Чехова, в которых Кулыгин рассказывает, что ученик в семинарии прочитал слово «чепуха» как «repyxa», приняв его за латинское.

му. «Я заплачу», — сказал Карл. «Нет, я, — сказал Курт. — Я его первый нашел». Этот довод Карла убедил. С трудом опорожненный автомобиль отъехал. Трое людей остались на панели: один из них лежал, приставленный затылком к каменной ступени.

Пошатываясь и вздыхая, Курт и Карл стали посреди мостовой и затем, обратившись к единственному освещенному в доме окну, хрипло крикнули, и тотчас, с неожиданной отзывчивостью, жалюзи, прорезанное светом, дрогнуло и взвилось. Из окна выглянула молодая дама. Не зная, как начать, Курт ухмыльнулся, потом, собравшись с силами, бодро и громко сказал: «Сударыня, мы привезли Пульвермахера». Дама ничего не ответила, и жалюзи с треском опустилось. Было видно, однако, что она осталась у окна. «Мы его нашли на улице», — неуверенно сказал Карл, обращаясь к окну. Жалюзи опять поднялось. «Бархатный жилет», — счел нужным пояснить Курт. Окно опустело, но через минуту темнота за парадной дверью распалась, сквозь стекло появилась освещенная лестница, мраморная до первой площадки, и не успела эта новорожденная лестница полностью окаменеть, как уже на ступенях появились быстрые женские

ноги. Ключ заиграл в замке, дверь открылась. На панели, спиной к ступеням, лежал полный человек в черном.

Между тем лестница продолжала рожать людей… Появился господин в ночных туфлях, в черных штанах и крахмальной рубашке без воротничка, за ним коренастая бледная горничная в шлепанцах на босу ногу. Все наклонились над Лужиным, и виновато улыбавшиеся, совершенно пьяные незнакомцы что-то объясняли, и один из них все совал, как визитную карточку, половинку почтовой открытки. Лужина впятером понесли вверх по лестнице, и его невеста, поддерживавшая тяжелую, драгоценную голову, ахнула, когда внезапно свет на лестнице потух. В темноте все качнулось куда-то, был стук, и шаркание, и пыхтение, кто-то оступился и помянул по-немецки Бога, и когда свет зажегся опять, один из незнакомцев сидел на ступеньке, другой был придавлен телом Лужина, а повыше, на площадке, стояла мать в ярко расшитом капоте и, выпучив блестящие глаза, смотрела на бездыханное тело, которое, кряхтя и приговаривая, подпирал ее муж, на большую страшную голову, которая лежала на плече у дочери. Лужина внесли в гостиную. Молодые незнакомцы щелкали каблуками, пытаясь ко-

му-то представиться, и шарахались от столиков, уставленных фарфором. Их видели сразу во всех комнатах. Они, вероятно, хотели уйти и не могли дорваться до передней. Находили их на всех диванах, и в ванной комнате, и на сундуке в коридоре, и не было возможности от них отделаться. Число их было неизвестно, — колеблющееся, туманное число. А через некоторое время они исчезли, и горничная сказала, что двоих выпустила, и что остальные, должно быть, еще где-нибудь валяются, и что пьянство губит мужчин, и что жених ее сестры тоже пьет.

«Поздравляю, налимонился, — сказала хозяйка дома, глядя на Лужина, который, полураздетый и прикрытый пледом, лежал как мертвый на кушетке в гостиной. — Поздравляю. До положения риз». И странное дело: то, что Лужин напился до положения риз, понравилось ей, возбудило в ней по отношению к Лужину теплое чувство. В таком дебоше она усматривала что-то человеческое, естественное, и, пожалуй, некоторую удаль, размах души. В подобном положении бывали люди, которых она знала, хорошие люди, веселые люди. (И то сказать, рассуждала она, наше лихолетье сбивает с панталыку, и понятно, что время от времени русопят обращается к зеленому утеши-

телю...) Когда же оказалось, что от Лужина и не пахнет вином и что спит-то он странно, вовсе не как пьяный, она испытала разочарование и обиделась на самое себя, что могла в Лужине предположить хоть одну естественную наклонность.

Пока врач, приехавший на рассвете, осматривал его, в лице у Лужина произошла перемена, веки поднялись, и из-под них выглянули мутные глаза. И только тогда его невеста вышла из того душевного оцепенения, в котором находилась с тех пор, как увидела тело, лежавшее у подъезда. Правда, она с вечера ожидала чего-то страшного, но такого именно ужаса представить себе не могла. Когда вечером Лужин не явился, она позвонила в шахматное кафе, и ей сказали, что уже давно игра кончилась. Тогда она позвонила в гостиницу, и оттуда ей ответили, что Лужин еще не вернулся. Она выходила на улицу, думая, что, быть может, Лужин ждет у запертой двери, и опять звонила в гостиницу, и советовалась с отцом, не известить ли полицию. «Ерунда, — решительно сказал отец. — Мало ли какие у него есть знакомые. Пошел в гости человек». Но она отлично знала, что никаких знакомых у Лужина нет и что чем-то бессмысленно его отсутствие.

И теперь, глядя на большое, бледное лицо Лужина, она так вся исполнилась мучительной, нежной жалости, что, казалось, не будь в ней этой жалости, не было бы и жизни. Невозможно было думать о том, как валялся на улице этот безобидный человек, как тискали его мягкое тело пьяные люди; невозможно было думать о том, что все приняли его таинственный обморок за рыхлый и грубый сон бражника и что ждали бравурного храпа от его беспомощной тишины. Такая жалость, такая мука. И этот старенький, чудаковатый жилет, на который нельзя смотреть без слез, и бедная кудря, и белая, голая шея, вся в детских складках... И все это произошло по ее вине — недосмотрела, недосмотрела. Надо было все время быть рядом с ним, не давать ему слишком много играть, — и как это он до сих пор не попал под автомобиль, и как она не догадалась, что вот он может от шахматной усталости так грохнуться, так онеметь? «Лужин, — сказала она улыбаясь, словно он мог видеть ее улыбку, — Лужин, все хорошо. Лужин, вы слышите?»

Как только его перевезли в больницу, она поехала в гостиницу за его вещами, и сначала ее не пускали в его номер, и пришлось долго объяснять, и вместе с довольно наглым отельным

служащим звонить в санаторию, и потом платить за последнюю неделю пребывания Лужина в номере, и не хватило денег, и надо было опять объяснять, и при этом ей все казалось, что продолжается измывание над Лужиным, и трудно было сдерживать слезы. Когда же, отказавшись от грубой помощи отельной горничной, она стала собирать лужинские вещи, то чувство жалости дошло до крайней остроты. Среди его вещей были такие, которые он, должно быть, возил с собой давно-давно, не замечая их и не выбрасывая, — ненужные, неожиданные вещи: холщовый кушак с металлической пряжкой в виде буквы S и с кожаным карманчиком сбоку, ножичек-брелок, отделанный перламутром, пачка итальянских открыток, — все синева, да мадонны, да сиреневый дымок над Везувием; и несомненно петербургские вещи: маленькие счеты с красными и белыми костяшками, настольный календарь с перекидными листочками от совершенно некалендарного года — 1918. Все это почему-то валялось в шкапу, среди чистых, но смятых рубашек, цветные полосы и крахмальные манжеты которых вызывали представление о каких-то давно минувших годах. Там же нашелся шапокляк, купленный в Лондоне, и в нем визит-

ная карточка какого-то Валентинова… Туалетные принадлежности были в таком виде, что она решила их оставить, — купить ему резиновую губку взамен невероятной мочалки. Шахматы, картонную коробку, полную записей и диаграмм, кипу шахматных журналов она завернула в отдельный пакет: это ему было теперь не нужно. Когда чемодан и сундучок были наполнены и заперты, она еще раз заглянула во все углы и достала из-под постели пару удивительно старых, рваных, потерявших шнурки желтых башмаков, которые Лужину служили вместо ночных туфель. Она осторожно сунула их обратно под постель.

Из гостиницы она поехала в шахматное кафе, вспомнив, что Лужин был без трости и шляпы, и думая, что, быть может, он их там оставил. В турнирном зале было много народу, и, стоя у вешалки, бодро снимал пальто итальянец Турати. Она сообразила, что попала как раз к началу шахматного сеанса и что, по-видимому, никто не знает о болезни Лужина. «Будь что будет, — подумала она с некоторым злорадством. — Пусть ждут». Трость она нашла, но шляпы не было. И, с ненавистью посмотрев на столик, где уже были расставлены фигуры, и на широкоплечего Турати, который потирал руки и, как бас перед

выступлением, густо прочищал голос, она быстро вышла из кафе, села опять в таксомотор, на котором трогательно зеленел клетчатый лужинский сундучок, и вернулась в санаторию.

Ее не было дома, когда явились вчерашние молодые люди. Они пришли извиниться за бурное ночное вторжение. Были они прекрасно одеты, всё кланялись и шаркали, и спрашивали, как себя чувствует господин, которого ночью привезли. Их благодарили за доставку, и было им для приличия сказано, что господин прекрасно выспался после дружеской пирушки, на которой его чествовали сослуживцы по случаю его обручения. Посидев десять минут, молодые люди встали и, очень довольные, ушли. Приблизительно в это же время явился в санаторию растерянный маленький человек, имевший отношение к устройству турнира. К Лужину его не пустили; спокойная молодая дама, говорившая с ним, холодно ему сказала, что Лужин переутомился и неизвестно когда возобновит шахматную деятельность. «Это ужасно, неслыханно, — несколько раз жалобно повторил маленький человек. — Неоконченная партия! И такая хорошая партия! Передайте маэстро… Передайте маэстро мое волнение, мои пожелания…» Он безнадежно махнул ручкой и

поплелся к выходу, качая головой.

И в газетах появилось сообщение, что Лужин заболел нервным переутомлением, не доиграв решительной партии, и что, по словам Турати, черные, несомненно, проигрывали, вследствие слабости пешки на эф-четыре. И во всех шахматных клубах знатоки долго изучали положение фигур, прослеживая возможные продолжения, отмечали слабый пункт у белых на дэ-три, но никто не мог найти ключ к бесспорной победе.

10

В один из ближайших вечеров произошел давно назревший, давно рокотавший и наконец тяжело грянувший, — напрасный, безобразно громкий, но неизбежный, — разговор. Она только что вернулась из санатории, жадно ела гречневую кашу и рассказывала, что Лужину лучше. Родители переглянулись, и тут-то и началось.

«Я надеюсь, — звучно сказала мать, — что ты отказалась от своего безумного намерения». — «Еще, пожалуйста», — попросила она, протягивая тарелку. «Из известного чувства деликатности…» — продолжала мать, и тут отец быстро перехватил эстафету. «Да, — сказал он, — из деликатности твоя мать ничего тебе не говорила эти дни, — пока не выяснилось положение твоего знакомого. Но теперь ты должна нас выслушать. Ты знаешь сама: главное наше желание, и забота, и цель, и вообще… желание — это то, чтоб тебе было хорошо, чтоб ты была счастлива и так далее. А для этого…» — «В мое время просто бы запретили, — вставила мать, — и все тут». — «Нет, нет, при чем тут запрет. Ты вот послушай, душенька. Тебе не восемнадцать лет, а двадцать

пять, и вообще я не вижу во всем, что случилось, какого-нибудь увлечения, поэзии». — «Ей просто нравится делать все наперекор, — опять перебила мать. — Это такой сплошной кошмар…» — «О чем вы, собственно, говорите?» — наконец спросила дочь и улыбнулась исподлобья, мягко облокотившись на стол и переводя глаза с отца на мать. «О том, что пора выбросить дурь из головы, — крикнула мать. — О том, что брак с полунормальным нищим совершенная ересь». — «Ох», — сказала дочь и, протянув по столу руку, опустила на нее голову. «Вот что, — снова заговорил отец. — Мы тебе предлагаем поехать на Итальянские озера. Поехать с мамой на Итальянские озера. Ты не можешь себе представить, какие там райские места. Я помню, что когда я впервые увидел Изола Белла…» У нее запрыгали плечи от мелкого смеха; затем она подняла голову и продолжала тихо смеяться, не открывая глаз. «Объясни, чего же ты хочешь», — спросила мать и хлопнула по столу. «Во-первых, — ответила она, — чтобы не было такого крика. Во-вторых, чтобы Лужин совсем поправился». — «Изола Белла это значит Прекрасный Остров, — торопливо продолжал отец, стараясь многозначительной ужимкой показать жене, что он один справится. — Ты не

можешь себе представить… Синяя лазурь, и жара, и магнолии, и превосходные гостиницы в Стрезе, — ну конечно, теннис, танцы… И особенно я помню, — как это называется, — такие светящиеся мухи…» — «Ну а потом что? — с хищным любопытством спросила мать. — Ну а потом, когда твой друг, — если не окочурится…» — «Это зависит от него, — по возможности спокойно сказала дочь. — Я этого человека не могу бросить на произвол судьбы. И не брошу. Точка». — «Будешь с ним в желтом доме, — живи, живи, матушка!» — «В желтом или синем…» — начала с дрожащей улыбкой дочь. «Не соблазняет Италия?» — бодро крикнул отец. «Сумасшедшая… Я поседела из-за тебя! Ты не выйдешь за этого шахматного обормота!» — «Сама обормот. Если захочу, выйду. Ограниченная и нехорошая женщина…» — «Ну-ну-ну, будет, будет», — бубнил отец. «Я его больше сюда не впущу, — задыхалась мать. — Вот тебе крест». Дочь беззвучно расплакалась и вышла из столовой, стукнувшись мимоходом об угол буфета и жалобно сказав: «Чорт возьми!» Буфет долго и обиженно звенел.

«Не надо было так», — шепотом сказал отец. «Заступайся, заступайся, голубчик…» — «Да нет, я ничего. Только мало ли что бывает. Человек пере-

утомился, сдал, как говорится. Может быть, — Бог его знает! — может быть, действительно после такой встряски он изменится к лучшему… Я, знаешь, пойду посмотреть, что она делает».

А на следующий день он долго беседовал со знаменитым психиатром, в санатории которого лежал Лужин. У психиатра была черная ассирийская борода и влажные, нежные глаза, которые чудесно переливались, пока он слушал собеседника. Он сказал, что Лужин не эпилептик и не страдает прогрессивным параличом, что его состояние есть последствие длительного напряжения и что, как только с Лужиным можно будет столковаться, придется ему внушить, что слепая страсть к шахматам для него гибельна и что на долгое время ему нужно от своей профессии отказаться и вести совершенно нормальный образ жизни. «Ну а жениться такому человеку можно?» — «Что же, — если он не импотент… — нежно улыбнулся профессор. — Да и в супружестве есть для него плюс. Нашему пациенту нужен уход, внимание, развлечения. Это временное помутнение сознания, которое теперь постепенно проходит. Насколько можно судить, — наступает полное прояснение».

Слова психиатра произвели дома легкую

сенсацию. «Значит, шахматам капут? — с удовлетворением отметила мать. — Что же это от него останется, — одно голое сумасшествие?» — «Нет-нет, — сказал отец. — О сумасшествии нет никакой речи. Человек будет здоров. Не так страшен чорт, как его малютки. Я сказал “малютки”, — ты слышишь, душенька?» Но дочь не улыбнулась, только вздохнула. По правде сказать, она чувствовала себя очень усталой. Большую часть дня она проводила в санатории, и было что-то невероятно утомительное в преувеличенной белизне всего окружающего и в бесшумных белых движениях сестер. Все еще очень бледный, обросший щетиной, в чистой рубашке, Лужин лежал неподвижно. Правда, бывали минуты, когда он поднимал под простыней колено или мягко двигал рукой, да и в лице проходили легкие теневые перемены, и в раскрытых глазах бывал иногда почти осмысленный свет, — но все же только и можно было о нем сказать, что он неподвижен, — тягостная неподвижность, изнурительная для взгляда, искавшего в ней намека на сознательную жизнь. И взгляд нельзя было отвести, — так хотелось проникнуть под этот желтовато-бледный лоб, который изредка сморщивался от неведомого внутреннего движения,

проникнуть в неведомый туман, трудно шевелящийся, пытающийся, быть может, распутаться, сгуститься в отдельные земные мысли. Да, было движение, было. Безóбразный туман жаждал очертаний, воплощений, и однажды во мраке появилось как бы зеркальное пятнышко, и в этом тусклом луче явилось Лужину лицо с черной курчавой бородой, знакомый образ, обитатель детских кошмаров. Лицо в тусклом зеркальце наклонилось, и сразу просвет затянулся, опять был туманный мрак и медленно рассеивавшийся ужас. И по истечении многих темных веков — одной земной ночи — опять зародился свет, и вдруг что-то лучисто лопнуло, мрак разорвался и остался только в виде тающей теневой рамы, посреди которой было сияющее голубое окно. В этой голубизне блестела мелкая, желтая листва, бросая пятнистую тень на белый ствол, скрытый пониже темно-зеленой лапищей елки; и сразу это видение наполнилось жизнью, затрепетали листья, поползли пятна по стволу, колыхнулась зеленая лапа, и Лужин, не выдержав, прикрыл глаза, но светлое колыхание осталось под веками. «Там, в роще, я что-то зарыл», — блаженно подумал он. И только хотел вспомнить, что именно, как услышал над собой шелест и два спокойных

голоса. Он стал вслушиваться, стараясь понять, где он и почему на лоб легло что-то мягкое и холодное. Погодя он снова открыл глаза. Толстая белая женщина держала ладонь у него на лбу, — а там, в окне, было все то же счастливое сияние. Он подумал, что сказать, и, увидев на ее груди приколотые часики, облизал губы и спросил, который час. Сразу кругом произошло движение, женщины зашептались, и с удивлением Лужин заметил, что понимает их язык, сам может на нем говорить. «Который час?» — повторил он. «Девять часов утра, — сказала одна из женщин. — Как вы себя чувствуете?» В окно, если чуть приподняться, был виден забор, тоже в пятнах теней. «По-видимому, я попал домой», — в раздумии проговорил Лужин и опять опустил пустую, легкую голову на подушку. Он слышал некоторое время шепот, легкий звон стекла… Ему показалось, что нелепость всего происходящего чем-то приятна и что удивительно хорошо лежать не двигаясь. Так он незаметно заснул и, когда проснулся, увидел опять голубой блеск русской осени. Но что-то изменилось, кто-то незнакомый появился рядом с его постелью. Лужин повернул голову: на стуле справа сидел господин в белом, с черной бородой, и внимательно смотрел улыбающимися глазами.

Лужин смутно подумал, что он похож на мужика с мельницы, но сходство сразу пропало, когда господин заговорил: «Карашо?» — дружелюбно осведомился он. «Кто вы?» — спросил Лужин по-немецки. «Друг, — ответил господин, — верный друг. Вы были больны, но теперь здоровы. Слышите, — совершенно здоровы». Лужин стал думать над этими словами, но господин не дал ему додуматься и ласково сказал: «Вы должны лежать тихо. Отдыхайте. Побольше спите».

Так Лужин вернулся обратно из долгого путешествия, растеряв по дороге большую часть багажа, и лень было восстанавливать пропажу. Эти первые дни выздоровления были тихи и плавны; женщины в белом вкусно кормили его; приходил обворожительный бородач, и говорил приятные вещи, и смотрел агатовым взглядом, который теплом разливался по телу. Вскоре Лужин стал замечать, что в комнате бывает еще кто-то, — трепетное, неуловимое присутствие. Раз, когда он проснулся, кто-то беззвучно и торопливо уходил, как бы знакомый шепот возник рядом и сразу погас. И в разговоре бородатого друга стали мелькать намеки на что-то таинственное и счастливое; оно было в воздухе вокруг него, и в осенней прелести окна, и дрожало где-то

за дверью, — загадочное, увертливое счастье. И Лужин постепенно начал понимать, что райская пустота, в которой витают его прозрачные мысли, со всех сторон заполняется. Но ему повезло: первым явилось наиболее счастливое видение его жизни.

Предупрежденный о близости прекрасного события, он смотрел сквозь решетку изголовья на белую дверь и ждал, что вот сейчас она откроется и сбудется наконец предсказание. Но дверь не открывалась. Вдруг сбоку, вне поля его зрения, что-то шелохнулось. Под прикрытием большой ширмы кто-то стоял и смеялся. «Иду, иду, один момент», — забормотал Лужин, высвобождая ноги из-под простыни и вытаращенными глазами ища под стулом, рядом с постелью, какой-нибудь обуви. «Никуда вы не пойдете», — сказал голос, и розовое платье мгновенно заполнило пустоту.

То, что его жизнь прежде всего озарилась именно с этой стороны, облегчило его возвращение. Некоторое еще время оставались в тени жестокие громады, боги его бытия. Произошел нежный оптический обман: он вернулся в жизнь не с той стороны, откуда вышел, и работу по распределению его воспоминаний взяло на себя то удивительное счастье, которое первым встрети-

ло его. И когда наконец эта область жизни была полностью восстановлена, и вдруг, с грохотом обрушившейся стены, появился Турати, турнир и все предыдущие турниры, — этому же счастью удалось увести сопротивлявшийся образ Турати и положить обратно в ящик зашевелившиеся было шахматные фигуры. Как только они опять оживали, их твердо захлопывали снова, — и борьба продолжалась недолго. Помогал доктор, дорогие каменья его глаз переливались и таяли; он говорил о том, что кругом свободный и светлый мир, что игра в шахматы — холодная забава, которая сушит и развращает мысль, и что страстный шахматист так же нелеп, как сумасшедший, изобретающий перпетуум мобиле или считающий камушки на пустынном берегу океана. «Я вас перестану любить, — говорила невеста, — если вы будете вспоминать о шахматах, — а я вижу каждую мысль, так что держитесь». «Ужас, страдание, уныние, — тихо говорил доктор, — вот что порождает эта изнурительная игра». И он доказывал Лужину, что сам Лужин хорошо это знает, что Лужин не может подумать о шахматах без отвращения, и, таинственным образом тая, переливаясь и блаженно успокаиваясь, Лужин соглашался с его доводами. И по огромному, пре-

красно пахнувшему санаторскому саду Лужин прогуливался в новеньких ночных туфлях из мягкой кожи и одобрительно отзывался о георгинах, и рядом шла его невеста и почему-то думала о читанной в детстве книжке, где все неприятности в жизни одного гимназиста, бежавшего из дома со спасенной им собакой, разрешались удобной для автора горячкой (не тифом, не скарлатиной, а просто горячкой), и нелюбимая дотоле молодая мачеха так ухаживала за ним, что он ее вдруг начинал ценить и звать мамой, и теплая слезинка скатывалась по щеке, и все было очень хорошо. «Лужин здоров», — сказала она, с улыбкой глядя на его тяжелый профиль (профиль обрюзгшего Наполеона), опасливо склоненный над цветком, который — Бог его знает — мог укусить. «Лужин здоров. Лужин гуляет. Лужин очень милый». — «Не пахнет», — баском сказал Лужин. «И не должно пахнуть, — ответила она, взяв его под руку. — Это у георгин не принято. А вон тот белый господин — табак. Он здорово пахнет ночью. Когда я была маленькая, я всегда высасывала сок из серединки. Теперь уже невкусно». — «У нас в саду… — начал Лужин и задумался, щурясь на клумбы. — Имелись вот эти цветочки, — сказал он. — Сад был вполне презен-

табельный». — «Астры, — пояснила она. — Я их не люблю. Они жесткие. А в нашем саду…»

Вообще много говорилось о детстве. Говорил и профессор, расспрашивал Лужина: «У вашего отца была земля? Не правда ли?» Лужин кивал. «Земля, деревня, — это превосходно, — продолжал профессор. — У вас были, верно, лошади, коровы?» Кивок. «Дайте мне представить себе ваш дом… Кругом вековые деревья… Дом большой, светлый. Ваш отец возвращается с охоты…» Лужин вспомнил, как однажды отец принес толстого, неприятного птенчика, найденного в канаве. «Да», — неуверенно ответил Лужин. «Какие-нибудь подробности, — мягко попросил профессор. — Пожалуйста. Прошу вас. Меня интересует, чем вы занимались в детстве, как играли. У вас были, наверное, солдатики…»

Но Лужин при этих беседах оживлялся редко. Зато мысль его, беспрестанно подталкиваемая такими расспросами, возвращалась снова и снова к области его детства. То, что он вспоминал, невозможно было выразить в словах, — просто не было взрослых слов для его детских впечатлений, — а если он и рассказывал что-нибудь, то отрывисто и неохотно, — бегло намечая очертания, буквой и цифрой обозначая сложный, богатый возможно-

стями ход. Дошкольное, дошахматное детство, о котором он прежде никогда не думал, отстраняя его с легким содроганием, чтобы не найти в нем дремлющих ужасов, унизительных обид, оказывалось ныне удивительно безопасным местом, где можно было совершать приятные, не лишенные пронзительной прелести экскурсии. Лужин сам не мог понять, откуда волнение, — почему образ толстой француженки с тремя костяными пуговицами сбоку на юбке, которые сближались, когда ее огромный круп опускался в кресло, — почему образ, так его раздражавший в то время, теперь вызывает чувство нежного ущемления в груди. Он вспоминал, как в петербургском доме ее астматическая тучность предпочитала лестнице старомодный, водой движимый лифт, который швейцар пускал в ход при помощи рычага на стене вестибюля. «В путь-дорогу», — неизменно говорил швейцар, закрывая за ней дверные половинки, и тяжкий, отдувающийся, вздрагивающий лифт медленно полз вверх по толстому бархатному шнуру, и мимо лифта, по облупленной стене, видной сквозь стекло, медленно спускались темные географические пятна, те пятна сырости и старости, среди которых, как и среди небесных облаков, господствует мода на

очертания Черного моря и Австралии. Иногда маленький Лужин поднимался вместе с ней, но чаще оставался внизу и слушал, как в вышине, за стеной, трудно взбирается лифт, — и он всегда надеялся, маленький Лужин, что лифт на полпути застрянет. Частенько так и случалось. Шум прекращался, из неизвестного междустенного пространства доносился вопль о помощи; швейцар внизу двигал, гакая, рычагом, и открывал дверь в черноту, и, глядя вверх, деловито спрашивал: «Поехали?» Наконец что-то содрогалось, приходило в движение, и через некоторый срок спускался лифт — уже пустой. Пустой. Бог весть, что случилось с ней, — быть может, доехала она уже до небес и там осталась, со своей астмой, лакричными конфетами и пенсне на черном шнурке. Пустым вернулось воспоминание, и в первый раз, быть может, за всю свою жизнь Лужин задался вопросом — куда же, собственно говоря, все это девается, что сталось с его детством, куда уплыла веранда, куда уползли, шелестя в кустах, знакомые тропинки?

Непроизвольным движением души он этих тропинок искал в санаторском саду, но у клумб был другой очерк, и березы были размещены иначе, и просветы в их рыжей листве, налитые

осенней синевой, никак не соответствовали рисунку тех памятных березовых просветов, на которые он эти вырезанные части лазури так и этак накладывал. Неповторим как будто был тот далекий мир, в нем бродили уже вполне терпимые, смягченные дымкой расстояния образы его родителей, и заводной поезд с жестяным вагоном, выкрашенным под фанеру, уходил жужжа под воланы кресла, и Бог знает, что думал при этом кукольный машинист, слишком большой для паровоза и потому помещенный в тендер.

Таково было детство, охотно посещаемое теперь мыслью Лужина. Затем шла другая пора, долгая шахматная пора, о которой и доктор и невеста говорили, что это были потерянные годы, темная пора духовной слепоты, опасное заблуждение, — потерянные, потерянные годы. О них не следовало вспоминать. Там таился, как злой дух, чем-то страшный образ Валентинова. Ладно, согласимся, довольно, — потерянные годы, — долой их, — забыто, — вычеркнуто из жизни. И если так исключить их, свет детства непосредственно соединялся с нынешним светом, выливался в образ его невесты. Она выражала собой все то ласковое и обольстительное, что можно было извлечь из воспоминаний детства, — словно пятна света,

рассеянные по тропинкам сада на мызе, срослись теперь в одно теплое, цельное сияние.

«Радуешься? — уныло спросила мать, глядя на ее оживленное лицо. — Скоро сыграем свадьбу?» — «Скоро, — ответила она и бросила свою кругленькую серую шляпу на диван. — Во всяком случае, он на днях оставит санаторию». — «Здорово твоему отцу влетит — марок тысяча». — «Я сейчас по всем книжным магазинам рыскала, — вздохнула дочь. — Он непременно требовал Жюль Верна и Шерлока Хольмса. И оказывается, что он никогда не читал Толстого». — «Конечно, он мужик, — пробормотала мать. — Я всегда говорила». — «Слушай, мама, — сказала она, слегка хлопая перчаткой по пакету с книгами, — давай условимся. С сегодняшнего дня больше никаких таких милых замечаний. Это глупо, унизительно для тебя и, главное, совершенно ни к чему». — «Не выходи ты за него замуж, — изменившись в лице, проговорила мать. — Не выходи. Умоляю тебя. Ну, хочешь, — я бухнусь перед тобой на колени…» И, опираясь одной рукой о кресло, она стала с трудом сгибать ногу, медленно опуская свое большое, слегка похрустывавшее тело. «Пол продавишь», — сказала дочь и, захватив книги, вышла из комнаты.

Путешествие Фогга и мемуары Хольмса Лужин прочел в два дня и, прочитав, сказал, что это не то, что он хотел, — неполное, что ли, издание. Из других книг ему понравилась «Анна Каренина» — особенно страницы о земских выборах и обед, заказанный Облонским. Некоторое впечатление произвели на него и «Мертвые Души», причем он в одном месте неожиданно узнал целый кусок, однажды в детстве долго и мучительно писанный им под диктовку. Кроме так называемых классиков, невеста ему приносила и всякие случайные книжонки легкого поведения, — труды галльских новеллистов. Все, что только могло развлечь Лужина, было хорошо, — даже эти сомнительные новеллы, которые он со смущением, но с интересом читал. Зато стихи (например, томик Рильке, который она купила по совету приказчика) приводили его в состояние тяжелого недоумения и печали. Соответственно с этим профессор запретил давать Лужину читать Достоевского, который, по словам профессора, производит гнетущее действие на психику современного человека, ибо, как в страшном зеркале

— — —

«Ах, господин Лужин не задумывается над книгой, — весело сказала она. — А стихи он плохо

понимает из-за рифм, рифмы ему в тягость».

И странная вещь: несмотря на то что Лужин прочел в жизни еще меньше книг, чем она, гимназии не кончил, ничем другим не интересовался, кроме шахмат, — она чувствовала в нем призрак какой-то просвещенности, недостающей ей самой. Были заглавия книг и имена героев, которые почему-то были Лужину по-домашнему знакомы, хотя самых книг он никогда не читал. Речь его была неуклюжа, полна безобразных, нелепых слов, — но иногда вздрагивала в ней интонация неведомая, намекающая на какие-то другие слова, живые, насыщенные тонким смыслом, которые он выговорить не мог. Несмотря на невежественность, несмотря на скудость слов, Лужин таил в себе едва уловимую вибрацию, тень звуков, когда-то слышанных им.

Ни об его некультурности, ни о прочих его недостатках мать больше не говорила после того дня, когда, оставшись одна в коленопреклоненном положении, она всласть нарыдалась, щекой приложившись к ручке кресла. «Я бы все поняла, — сказала она потом мужу, — все поняла и простила бы, если бы она действительно любила его. Но в том-то и ужас…» — «Нет, это не совсем так, — прервал муж. — Мне тоже сперва казалось,

что все это чисто головное. Но ее отношение к его болезни меня убеждает в обратном. Конечно, такой союз опасен, да и она могла бы лучше выбрать… Хотя он из старой дворянской семьи, но его узкая профессия наложила на него некоторый отпечаток. Вспомни Ирину, которая стала актрисой, — вспомни, какой она потом приехала к нам. Все же, невзирая на эти все дефекты, я считаю, что он человек хороший. Вот ты увидишь, он займется теперь каким-нибудь полезным делом. Я не знаю, как ты, но я просто не решаюсь больше ее отговаривать. По-моему, если уж хочешь знать мое мнение, — следует скрепя сердце принять неизбежное».

Он говорил долго и бодро, держась очень прямо и стуча крышечкой портсигара.

«Я только одно чувствую, — повторяла жена, — она его не любит».

11

В зачаточном пиджаке без одного рукава стоял обновляемый Лужин боком к трюмо, и лысый портной то проводил мелом по его плечам и спине, то втыкал в него булавки, с поразительной ловкостью вынимая их изо рта, где, по-видимому, они естественно росли. Из всех образцов сукна, аккуратно, по тонам, расположенных в альбоме, Лужин выбрал квадрат темно-серый, и невеста долго щипала соответствующее сукно, которое портной бросил с глухим стуком на прилавок, молниеносно развернул и, выпятившись, прижал к груди, словно прикрывая наготу. Она нашла, что сукно склонно мяться, и тогда лавина плотных свертков стала заносить прилавок, и портной, моча палец о нижнюю губу, разворачивал, разворачивал. Выбрано было наконец сукно, тоже темно-серое, но гибкое и нежное, даже как будто чуть мохнатое, и теперь Лужин, распределенный в трюмо по частям, по разрезам, словно для наглядного обучения (…вот чисто выбритое полное лицо, вот то же лицо в профиль, а вот редко самим субъектом видаемый затылок, довольно коротко подстриженный, со складочками

на шее и слегка оттопыренными, розовым светом пронизанными ушами…), посматривал на себя и на материю, не узнавая в ней прежней гладкой и щедрой целины. «Я думаю, что нужно спереди чуточку у́же», — сказала невеста, и портной, отойдя на шаг, прищурился на лужинскую фигуру, промурлыкал с вежливым смешком, что господин несколько в теле, а потом взялся за новорожденные отвороты, что-то подтянул, что-то подколол, меж тем как Лужин, с жестом, свойственным всем людям в его положении, слегка отводил руку или сгибал ее в локте, глядя себе на кисть и стараясь свыкнуться с рукавом. Мимоходом портной полоснул его мелом по сердцу, намечая карманчик, после чего безжалостно сорвал уже как будто готовый рукав и стал проворно вынимать булавки из лужинского живота.

Кроме хорошего костюма, Лужину был сделан и фрак; старомодный же смокинг, найденный на дне его сундучка, был тем же портным изменен к лучшему. Его невеста не смела спросить, боясь возбудить шахматные воспоминания, зачем нужны были Лужину в прежние дни смокинг и шапокляк, и поэтому никогда не узнала о некоем большом обеде в Бирмингаме, на котором, между прочим, Валентинов… Ну да Бог с ним.

Обновление лужинской оболочки этим не ограничилось. Появились рубашки, галстуки, носки, — и Лужин все это принимал с беззаботным интересом. Из санатории он переехал в небольшую, с веселыми обоями, комнату, снятую во втором этаже невестиного дома, и, когда он переезжал, у него было точь-в-точь такое же чувство, как когда в детстве возвращался из деревни в город. Всегда странно это городское новоселье. Спать ляжешь, и все так ново: в тишине плетущимся цоканием оживают на несколько мгновений ночные торцы, окна завешены плотнее и пышнее, чем в усадьбе; во мраке, едва облегченном светлой чертой неплотно закрытой двери, выжидательно застыли предметы, еще не совсем потеплевшие, но до конца возобновившие знакомство после долгого летнего перерыва. А проснешься, — трезвый серый свет за окнами, в молочной мути неба скользит солнце, похожее на луну, и вдруг в отдалении — наплыв военной музыки: она приближается оранжевыми волнами, прерывается торопливой дробью барабана, и вскоре все смолкает, и, вместо щекастых трубных звуков, опять невозмутимый стук копыт, легкое дребезжание петербургского утра.

«Вы забываете тушить свет в коридоре, — с

улыбкой сказала пожилая немка, сдававшая ему комнату. — Вы забываете закрывать вашу дверь на ночь». И невесте его она тоже пожаловалась, — рассеян, мол, как старый профессор.

«Вам уютно, Лужин? — спрашивала невеста. — Вы спите хорошо, Лужин? Нет, я знаю, что неуютно, но ведь это скоро все изменится». — «Не надо больше откладывать, — бормотал Лужин, обняв ее и скрестив пальцы у нее на бедре. — Садитесь, садитесь, не надо откладывать. Давайте завтра вступим. Завтра. В самый законный брак». — «Да, скоро, скоро, — отвечала она. — Но нельзя же в один день. Есть еще одно учреждение. Там мы с вами будем висеть на стене в продолжение двух недель, и ваша жена тем временем приедет из Палермо, посмотрит на имена и скажет: нельзя, Лужин — мой».

«Затеряла, — ответила мать, когда она к ней обратилась за своей метрикой. — Засунула и затеряла. Не знаю, ничего не знаю». Бумага, однако, быстрехонько нашлась. Да и поздно было теперь предупреждать, запрещать, придумывать трудности. С роковой гладкостью подкатывала свадьба, которую было невозможно задержать, словно стоишь на льду, скользко, нет упора. Ей пришлось смириться и подумать о том, чем

украсить и как подать дочернего жениха, чтобы не стыдно было перед людьми, и как собраться с силами, чтобы на свадьбе улыбаться, играть довольную мать, хвалить честность и доброту Лужина. Думала она и о том, сколько уже ушло денег на Лужина и сколько еще уйдет, и старалась изгнать из воображения страшную картину: Лужин в дезабилье, пышущий макаковой страстью, и ее из упрямства покорная, холодная, холодная дочь. Меж тем и рама для этой картины была готова. Была снята поблизости не очень дорогая, но недурно обставленная квартира, правда — в пятом этаже, но что же делать, для лужинской одышки есть лифт, да и лестница не крута, со стульчиком на каждой площадке, под расписным окном. Из просторной прихожей, условно оживленной силуэтными рисунками в черных рамочках, дверь налево открывалась в спальню, а дверь направо — в кабинет. Далее, по правой же стороне прихожей, находилась дверь в гостиную; смежная с нею столовая была несколько длиннее, за счет прихожей, которая в этом месте благополучно превращалась в коридор, — превращение, целомудренно скрытое плюшевой портьерой на кольцах. Налево от коридора была ванная, за нею людская, а в конце — дверь в кухню.

Будущей обитательнице этой квартиры понравилось расположение комнат; их обстановка пришлась ей менее по вкусу. В кабинете стояли коричневые бархатные кресла, книжный шкап, увенчанный плечистым востролицым Данте в купальном шлеме, и большой, пустоватый письменный стол с неизвестным прошлым и неизвестным будущим. Валкая лампа на черном витом столбе под оранжевым абажуром высилась подле оттоманки, на которой были забыты светлошерстый медвежонок и толстомордая собака с широкими розовыми подошвами и пятном на глазу. Над оттоманкой висел фальшивый гобелен, изображавший пляшущих поселян.

Из кабинета — ежели легонько толкнуть раздвижные двери — открывался сквозной вид: паркет гостиной и дальше столовая с буфетом, уменьшенным перспективой. В гостиной зеленым лоском отливала пальма, по паркету были рассеяны коврики. Наконец, — столовая, с выросшим теперь до естественной величины буфетом и с тарелками по стенам. Над столом одинокий пушистый чортик повисал с низкой лампы. Окно было фонарем, и оттуда можно было видеть сквер с фонтаном в конце улицы. Вернувшись к столу, она поглядела через гостиную в даль кабинета,

на гобелен, в свою очередь уменьшившийся, затем вышла из столовой в коридор и направилась через прихожую в спальню. Там стояли, тесно прижавшись друг к дружке, две пухлые постели. Лампа оказалась в мавританском стиле, занавески на окнах были желтые, что сулило по утрам обманный солнечный свет, — и в простенке висела гравюра: вундеркинд в ночной рубашонке до пят играет на огромном рояле, и отец, в сером халате, со свечой в руке, замер, приоткрыв дверь.

Кое-что пришлось добавить, кое-что изъять. Из гостиной был убран портрет хозяйского дедушки, а из кабинета поспешно изгнали восточного вида столик с перламутровой шахматной доской. Окно в ванной комнате, снизу голубовато-искристое, будто подернутое морозом, оказалось надтреснутым в своей верхней прозрачной части, и пришлось вставить новое стекло. В кухне и в людской побелили потолки. Под сенью салонной пальмы вырос граммофон. Вообще же говоря, осматривая и подправляя эту «квартиру на барскую ногу, снятую на скорую руку», — как шутил отец, — она не могла отделаться от мысли, что все это только временное, придется, вероятно, увезти Лужина из Берлина, развлекать его другими странами. Всякое будущее неизвестно, — но иногда

оно приобретает особую туманность, словно на подмогу естественной скрытности судьбы приходит какая-то другая сила, распространяющая этот упругий туман, от которого отскакивает мысль.

Но как Лужин был мягок и мил в эти дни… Как он уютно сидел, одетый в новый костюм и украшенный дымчатым галстуком, за чайным столом и вежливо, если и не совсем впопад, поддакивал собеседнику. Его будущая теща рассказала знакомым, что Лужин решил бросить шахматную игру, которая слишком много отнимала времени, но что он об этом не любит говорить, — и теперь Олег Сергеевич Смирновский уже не требовал партии, а с огоньком в глазах раскрывал ему таинственные махинации масонов и даже обещал дать прочесть замечательную брошюру.

В учреждениях, куда они ходили сообщать чиновникам о намерении вступить в брак, Лужин вел себя как взрослый, все бумаги нес сам, благоговейно, бережно, и заполнял бланки с любовью, отчетливо выводя каждую букву. Почерк у него был кругленький, необыкновенно аккуратный, и немало времени уходило на осторожное развинчивание новой самопишущей ручки, которую он несколько жеманно отряхивал в сторону, прежде чем приступить к писанию,

а потом, насладившись скольжением золотого пера, так же осторожно совал обратно в сердечный карманчик, блестящей зацепкой наружу. И с удовольствием он сопровождал невесту по магазинам и ждал, как интересного сюрприза, квартиры, которой она решила до свадьбы ему не показывать.

В течение тех двух недель, пока их имена были вывешены напоказ, — то на адрес жениха, то на адрес невесты стали приходить предложения разных недремлющих фирм: экипажи для свадеб и похорон (с изображением кареты, запряженной парой галопирующих лошадей), фраки напрокат, цилиндры, мебель, вино, наемные залы, аптекарские принадлежности. Лужин добросовестно рассматривал иллюстрированные прейскуранты и складывал их у себя, удивляясь, почему невеста так презрительно относится ко всем этим любопытным предложениям. Были предложения другого рода. Было то, что Лужин называл «небольшое апарте», с будущим тестем, приятный разговор, во время которого тот предложил устроить его в коммерческое предприятие, — конечно, погодя, не сейчас, пускай поживут спокойно несколько месяцев. «Жизнь, мой друг, так устроена, — говорилось в этой беседе, — что

за каждую секунду человек должен платить, по самому минимальному расчету, 1/432 часть пфеннига, и это будет жизнь нищенская; вам же нужно содержать жену, привыкшую к известной роскоши». — «Да-да», — сказал Лужин, радостно улыбаясь и стараясь вывернуть в уме сложное вычисление, проделанное с такой нежной ловкостью его собеседником. «Для этого требуется несколько больше денег», — продолжал тот, и Лужин затаил дыхание в ожидании нового фокуса. «Секунда будет обходиться… дороже. Повторяю, я готов первое время — первый год, скажем, — щедро приходить вам на помощь… Но со временем… Вот вы побываете у меня как-нибудь в конторе, я вам покажу интересные вещи».

Так приятнейшим образом все кругом старалось расцветить пустоту лужинской жизни. Он давал себя укачивать, баловать, щекотать, принимал с зажмуренной душой ласковую жизнь, обволакивавшую его со всех сторон. Будущее смутно представлялось ему как молчаливое объятие, длящееся без конца, в счастливой полутемноте, где проходят, попадают в луч и скрываются опять, смеясь и покачиваясь, разнообразные игрушки мира сего. Но в неизбежные минуты жениховского одиночества, поздним вечером,

ранним утром, бывало ощущение странной пустоты, как будто в красочной складной картине, составленной на скатерти, оказались незаполненные, вычурного очерка, пробелы. И однажды во сне он увидел Турати, сидящего к нему спиной. Турати глубоко задумался, опираясь на руку, но из-за его широкой спины не видать было того, над чем он в раздумии поник. Лужин не хотел это увидеть, боялся увидеть, но все же осторожно стал заглядывать через черное плечо. И тогда он увидел, что перед Турати стоит тарелка супа и что не опирается он на руку, а просто затыкает за воротник салфетку. И в ноябрьский день, которому этот сон предшествовал, Лужин женился.

Олег Сергеевич Смирновский и некий балтийский барон были свидетелями того, как Лужина и его невесту провели в большую комнату и усадили за длинный стол, покрытый сукном. Чиновник переменил пиджак на поношенный сюртук и прочел брачный приговор. При этом все встали. После чего, с профессиональной улыбкой, чиновник почтил новобрачных сырым рукопожатием, и все было кончено. У выхода толстый швейцар, мечтая о полтиннике, поклонился, поздравляя, и Лужин добродушно сунул ему руку, которую тот принял на ладонь, не сразу сообразив, что это

человеческая рука, а не подачка.

В тот же день было и церковное венчание. Последний раз Лужин побывал в церкви много лет назад, на панихиде по матери. Пятясь дальше в глубину прошлого, он помнил ночные вербные возвращения со свечечкой, метавшейся в руках, ошалевшей оттого, что вынесли ее из теплой церкви в неизвестную ночь, и наконец умиравшей от разрыва сердца, когда на углу улицы налетал ветер с Невы. Были исповеди в домовой церкви на Почтамтской, и особенно стучали сапоги в ее темноватой пустыне, передвигались, словно откашливаясь, стулья, на которых друг за другом сидели ожидавшие, и порой из таинственно завешенного угла вырывался шепот. И пасхальные ночи он помнил: дьякон читал рыдающим басом и, все еще всхлипывая, широким движением закрывал огромное Евангелие… И он помнил, как легко и пронзительно, вызывая сосущее чувство под ложечкой, звучало натощак слово «фасха» в устах изможденного священника; и помнил, как было всегда трудно уловить то мгновение, когда кадило плавно метит в тебя, именно в тебя, а не в соседа, и так поклониться, чтобы в точности поклон пришелся на кадильный взмах. Был запах ладана, и горячее падение

восковой капли на костяшки руки, и темный, медовый лоск образа, ожидавшего лобзания. Томные воспоминания, смуглота, поблескиванья, вкусный церковный воздух и мурашки в ногах. И ко всему этому теперь прибавилась дымчатая невеста, и венец, который вздрагивал в воздухе, над самой головой, и мог, того и гляди, упасть. Он осторожно косился на него, и ему показалось раза два, что чья-то незримая рука, державшая венец, передает его другой, тоже незримой руке. «Да-да», — поспешно ответил он на вопрос священника и еще хотел прибавить, как все это хорошо, и странно, и мягко для души, но только взволнованно прочистил горло, и свет в глазах стал расплывчато лучиться.

А затем, когда все сидели за большим столом, у него было такое же чувство, как когда приходишь домой после заутрени и ждет тебя масляный баран с золотыми рогами, окорок, девственно ровная пасха, за которую хочется приняться раньше всего, минуя ветчину и яйца. Было жарко и шумно, за столом сидело много людей, бывших, вероятно, и в церкви, — ничего, ничего, пусть побудут до поры до времени… Лужина глядела на мужа, на кудрю, на прекрасно сшитый фрак, на кривую полуулыбку, с которой он привет-

ствовал блюда. Ее мать, щедро напудренная, в очень открытом спереди платье, показывавшем, как в старые времена, тесную выемку между ее приподнятых, екатерининских грудей, держалась молодцом и даже говорила зятю «ты», так что Лужин некоторое время не понимал, к кому она обращается. Он выпил всего два бокала шампанского, и волнами стала находить на него приятная сонливость. Вы шли на улицу. Черная, ветреная ночь мягко ударила его в грудь, не защищенную недоразвитым фрачным жилетом, и жена попросила запахнуть пальто. Ее отец, весь вечер улыбавшийся и поднимавший бокал каким-то особенным образом — молча, до уровня глаз, — манера, перенятая у одного дипломата, говорившего очень изящно «скоуль»[19], — теперь, все так же улыбаясь одними глазами, поднимал в знак прощания блестящую при свете фонаря связку дверных ключей. Мать, придерживая на плече горностаевую накидку, старалась не смотреть на спину Лужина, влезавшего в автомобиль. Гости, все немного пьяные, прощались с хозяевами и друг с другом и, деликатно посмеиваясь, окружали автомобиль, который наконец тронулся, и

[19] Примечания: 19

Имеется в виду принятое в Скандинавии застольное выражение skål — ваше здоровье!

тогда кто-то заорал «ура», и поздний прохожий, обратившись к спутнице, одобрительно заметил: «Землячки шумят».

Лужин в автомобиле тотчас уснул, и при случайных, веером раскрывавшихся отблесках белесым светом оживало его лицо, и мягкая тень от носа совершала медленный круг по щеке и затем над губой, и опять было в автомобиле темно, пока не проходил новый свет, мимоходом поглаживая лужинскую руку, которая словно скользила в темный карман, как только опять наплывал сумрак. И потом пошла череда ярких огней, и каждый выгонял из-под белого галстука теневую бабочку, и тогда жена осторожно поправила ему кашне, так как даже в закрытый автомобиль проникал холод ноябрьской ночи. Он очнулся и прищурился от взмаха уличного луча, и не сразу понял, где он, но в это мгновение автомобиль остановился, и жена тихо сказала: «Лужин, мы дома».

В лифте он стоял, улыбаясь и мигая, несколько осовевший, но ничуть не пьяный, и глядел на ряд кнопок, одну из которых нажала жена. «На известной вышине», — сказал он и посмотрел на потолок лифта, точно ожидая там увидеть вершину пути. Лифт остановился. «Ёк», — сказал

Лужин и тихо рассыпался смехом.

Их встретила в прихожей новая прислуга — кругленькая девица, сразу протянувшая им красную, непропорционально большую руку. «Ах, зачем вы нас ждали», — сказала жена. Горничная поздравляла, что-то быстро говорила и с благоговением приняла лужинский шапокляк. Лужин с тонкой улыбкой показал, как он захлопывается. «Удивительно!» — воскликнула горничная. «Идите, идите спать, — беспокойно повторяла жена. — Мы сами все запрем».

Чередой озарился кабинет, гостиная, столовая. «Открывается телескопом», — сонно пробормотал Лужин. Ничего он толком не рассмотрел — слишком слипались глаза. Уже входя в столовую, он заметил, что несет в руках большую плюшевую собаку с розовыми подошвами. Он ее положил на стол, и сразу к ней спустился, как паук, пушистый чортик, повисший с лампы. Комнаты потухли, словно сдвинулись части телескопа, и Лужин оказался в светлом коридоре. «Идите спать», — кому-то опять крикнула жена, и что-то в глубине шуркнуло и пожелало доброй ночи. «Вон там людская, — сказала жена. — А тут, слева, ванная». — «Где уединение? — шепнул Лужин. — Где самая маленькая комната?» — «В

ванной, все в ванной», — ответила она, и Лужин осторожно приоткрыл дверь и, убедившись в чем-то, проворно заперся. Его жена прошла в спальню и села в кресло, оглядывая упоительно пухлые постели. «Ох, я устала», — улыбнулась она и долго следила глазами за крупной, вялой мухой, которая, безнадежно жужжа, летала вокруг мавританской лампы, а потом куда-то исчезла. «Сюда, сюда», — крикнула она, услышав в коридоре неуверенно шаркающий шаг Лужина. «Спальня», — сказал он одобрительно и, заложив руки за спину, некоторое время посматривал по сторонам. Она открыла шкап, куда накануне сложила вещи, подумала и обернулась к мужу. «Я ванну приму, — сказала она. — Все ваши вещи вот здесь».

«Подождите минуточку», — проговорил Лужин и вдруг во весь рот зевнул. «Подождите», — нёбным голосом повторил он, запихивая между слогами упругие части зевка. Но, захватив пижаму и ночные туфли, она быстро вышла из комнаты.

Голубой толстой струей полилась из крана вода и стала заполнять белую ванну, нежно дымясь и меняя тон журчания по мере того, как поднимался ее уровень. Глядя на льющийся блеск, она с

некоторой тревогой думала о том, что наступает предел ее женской расторопности и что есть область, в которой не ей путеводительствовать. Сидя затем в ванне, она смотрела, как собираются мелкие водяные пузыри на коже и на погружающейся пористой губке. Опустившись в воду по шею, она видела себя сквозь уже слегка помутившуюся от мыльной пены воду тонкотелой, почти прозрачной, и когда колено чуть-чуть поднималось из воды, этот круг лый, блестящий розовый остров был как-то нео жиданен своей несомненной телесностью. «В конце концов, это вовсе не мое дело», — сказала она, высвободив из воды сверкающую руку и отодвигая волосы со лба. Она напустила еще горячей воды, наслаждаясь тугими волнами тепла, проходившими по животу, и наконец, вызвав легкую бурю в ванне, вышла и не спеша принялась вытираться. «Прекрасная турчанка», — сказала она, стоя в одних шелковистых пижамных штанах перед зеркалом, слегка запотевшим от пара. «В общем, довольно благоустроенно», — сказала она погодя. Продолжая смотреться в зеркало, она стала медленно натягивать пижамную кофточку. «Бока полноваты», — сказала она. Вода в ванне, стекавшая с легким урчанием, вдруг пискнула, и все

смолкло: ванна была пуста, и только в дырке еще был маленький мыльный водоворот. И вдруг она поняла, что нарочно медлит, стоя в пижаме перед зеркалом, — и холодок прошел в груди, как когда перелистываешь прошлогодний журнал, зная, что сейчас, сейчас дверь откроется и встанет дантист на пороге.

Громко посвистывая, она пошла в спальню, и сразу свист осекся. Лужин, прикрытый до пояса пуховиком, в расстегнутой, топорщившейся крахмальной рубашке, лежал в постели, подогнув руки под голову, и с мурлыкающим звуком храпел. Воротничок висел на изножье, штаны валялись на полу, раскинув помочи, фрак, криво надетый на плечики вешалки, лежал на кушетке, подвернув под себя один хвост. Все это она тихо собрала, сложила. Перед тем как лечь, она отодвинула штору окна, чтоб посмотреть, спущено ли жалюзи. Оно не было спущено. В темной глубине двора ночной ветер трепал какие-то кусты, и при тусклом свете, неведомо откуда лившемся, что-то блестело, быть может — лужа на каменной панели вдоль газона, и в другом месте то появлялась, то скрывалась тень какой-то решетки. И вдруг все погасло, и была только черная пропасть.

Она думала, что уснет, как только бухнет в по-

стель, но вышло иначе. Воркующий храп подле нее, и странная грусть, и эта темнота в незнакомой комнате держали ее на весу, не давали соскользнуть в сон. И почему-то слово «партия» все проплывало в мозгу, — «хорошая партия», «найти себе хорошую партию», «партия», «партия», «недоигранная, прерванная партия», «такая хорошая партия». «Передайте маэстро мое волнение, волнение…» «Она могла бы сделать блестящую партию», — отчетливо сказала мать, проплывая во мраке. «Чокнемся», — шепнул нежный голос, и отцовские глаза показались из-за края бокала, и пена поднималась, поднималась, и новые туфли слегка жали, и в церкви было так жарко…

12

Большая поездка куда-нибудь за границу была отложена до весны, — единственная уступка, которую Лужина сделала родителям, желавшим хоть первые несколько месяцев быть поблизости. Сама Лужина немного боялась для мужа жизни в Берлине, опутанном шахматными воспоминаниями; впрочем, оказалось, что Лужина и в Берлине нетрудно развлекать.

Большая поездка куда-нибудь за границу, разговоры о ней, путевые замыслы. В кабинете, очень Лужину полюбившемся, нашелся в книжном шкапу великолепный атлас. Мир, сперва показываемый, как плотный шар, туго обтянутый сеткой долгот и широт, развертывался плоско, разрезался на две половины и затем подавался по частям. Когда он развертывался, какая-нибудь Гренландия, бывшая сначала небольшим придатком, простым аппендиксом, внезапно разбухала почти до размеров ближайшего материка. На полюсах были белые проплешины. Ровной лазурью простирались океаны. Даже на этой карте было бы достаточно воды, чтобы, скажем, вымыть руки, — что же это такое на самом деле, — сколько

воды, глубина, ширина… Лужин показал жене все очертания, которые любил в детстве, — Балтийское море, похожее на коленопреклоненную женщину, ботфорту Италии, каплю Цейлона, упавшую с носа Индии. Он считал, что экватору не везет, — все больше идет по морю, — правда, перерезает два континента, но не поладил с Азией, подтянувшейся вверх: слишком нажал и раздавил то, что ему перепало, — кой-какие кончики, неаккуратные острова. Он знал самую высокую гору и самое маленькое государство и, глядя на взаимное расположение обеих Америк, находил в их позе что-то акробатическое. «Но в общем все это можно было бы устроить пикантнее, — говорил он, показывая на карту мира. — Нет тут идеи, нет пуанты». И он даже немного сердился, что не может найти значения всех этих сложных очертаний, и долго искал возможность, как искал ее в детстве, пройти из Северного моря в Средиземное по лабиринтам рек или проследить какой-нибудь разумный узор в распределении горных цепей.

«Куда же мы поедем?» — говорила жена и слегка причмокивала, как делают взрослые, когда, начиная игру с ребенком, изображают приятное предвкушение. И затем она громко называла

романтические страны. «…Вот сперва на Ривьеру, — предлагала она. — Монте-Карло, Ницца. Или, скажем, Альпы». — «А потом немножко сюда, — сказал Лужин. — В Крыму есть очень дешевый виноград». — «Что вы, Лужин, Господь с вами, в Россию нам нельзя». — «Почему? — спросил Лужин. — Меня туда звали». — «Глупости, замолчите, пожалуйста», — сказала она, рассердившись не столько на то, что Лужин говорит о невозможном, сколько на то, что косвенно вспомнил нечто, связанное с шахматами. «Смотрите сюда, — сказала она, и Лужин покорно перевел глаза на другое место карты. — Вот тут, например, Египет, пирамиды. А вот Испания, где делают ужасные вещи с бычками…»

Она знала, что во многих городах, которые они могли бы посетить, Лужин, вероятно, не раз уже побывал, и потому, во избежание вредных реминисценций, больших городов не называла. Напрасная предосторожность. Тот мир, по которому Лужин в свое время разъезжал, не был изображен на карте, и если бы она назвала ему Рим или Лондон, то, по звуку этих названий в ее устах и по полной ноте на карте, он представил бы себе что-то совсем новое, невиданное, а ни в коем случае не смутное шахматное кафе,

которое всегда было одинаково, находись оно в Риме, Лондоне или в той же невинной Ницце, доверчиво названной ею. Когда же она принесла из железнодорожного бюро многочисленные проспекты, то еще резче как будто отделился мир шахматных путешествий от этого нового мира, где прогуливается турист в белом костюме, с биноклем на перевязи. Были черные силуэты пальм на розовом закате и опрокинутые силуэты этих же пальм в розовом, как закат, Ниле. Было до непристойности синее море, сахарно-белая гостиница с пестрым флагом, веющим в другую сторону, чем дымок парохода на горизонте, были снеговые вершины и висячие мосты, и лагуны с гондолами, и в бесконечном количестве старинные церкви, и какой-нибудь узенький переулок, и ослик с двумя толстыми тюками на боках… Все было красиво, все было забавно, перед всем неведомый автор проспектов приходил в восторг, захлебывался похвалами… Звонкие названия, миллион святых, воды, излечивающие от всех болезней, возраст городского вала, гостиницы первого, второго, третьего разряда, — от всего этого рябило в глазах, и все было хорошо, всюду ждали Лужина, звали громовыми голосами, безумели от собственного радушия и, не спрашивая

хозяина, раздаривали солнце.

В эти же первые дни супружества Лужин посетил контору тестя. Тесть что-то диктовал, а пишущая машинка твердила свое, — скороговоркой повторяла слово «то», приблизительно со следующей интонацией: «То ты пишешь не то, Тото, то — то то, то это мешает писать вообще», — и что-то с треском передвигалось. Тесть ему показал стопки бланков, бухгалтерские книги с зетоподобными линиями на страницах, книги с оконцами на корешках, чудовищно толстые тома коммерческой Германии, счетную машину, очень умную, совершенно ручную. Однако больше всего Лужину понравился Тото, пишущий не то, слова, быстро посыпавшиеся на бумагу, чудесная ровность лиловых строк и сразу несколько копий. «Я бы тоже… Надо знать», — сказал он, и тесть одобрительно кивнул, и пишущая машинка появилась у Лужина в кабинете. Ему было предложено, что один из конторских служащих придет и ему все объяснит, но он отказался, ответив, что научится сам. И точно: он довольно быстро разобрался в устройстве, научился вставлять ленту, вкатывать листы, подружился со всеми рычажками. Труднее оказалось запомнить расположение букв, стукание шло чрезвычайно

медленно; никакой тотовой скороговорки не получалось, и почему-то — с первого же дня — пристал восклицательный знак, — выскакивал в самых неожиданных местах. Сперва он переписал полстолбца из немецкой газеты, а потом сам кое-что сочинил. Вышло короткое письмецо такого содержания: «Вы требуетесь по обвинению в убийстве. Сегодня 27 ноября. Убийство и поджог. Здравствуйте, милостивая государыня. Теперь, когда ты нужен, восклицательный знак, где ты? Тело найдено. Милостивая государыня!! Сегодня придет полиция!!!» Лужин перечел это несколько раз и, вставив обратно лист, подписал довольно криво, мучительно ища букв: «Аббат Бузони». Тут ему стало скучно, дело шло слишком медленно. И как-нибудь нужно было приспособить написанное письмо. Порывшись в телефонной книге, он выискал некую Луизу Альтман, рантьершу, написал от руки адрес и послал ей свое сочинение.

Некоторым развлечением служил и граммофон. Бархатным голосом пел шоколадного цвета шкапчик под пальмой, и Лужин, обняв жену, сидел на диване, и слушал, и думал о том, что скоро ночь. Она вставала, меняла пластинку, держа диск к свету, и на нем был зыбкий сектор шелкового блеска, как лунная гралица на мо-

ре. И снова шкапчик источал музыку, и опять садилась рядом жена, опускала подбородок на скрещенные пальцы и слушала, моргая. Лужин запоминал мотивы и даже пытался их напевать. Были стонущие, трескучие, улюлюкающие танцы и нежнейший американец, поющий шепотом, и была целая опера в пятнадцать пластинок — «Борис Годунов» — с колокольным звоном в одном месте и с жутковатыми паузами.

Часто заходили родители жены, и было заведено, что три раза в неделю Лужины у них обедают. Мать не раз пробовала узнать у дочери кое-какие подробности брака и пытливо спрашивала: «Ты беременна? Я уверена, что уже беременна». — «Да что ты, — отвечала дочь, — я давно родила». Была она все так же спокойна, и так же улыбалась исподлобья, и так же звала Лужина по фамилии и на вы. «Мой бедный Лужин, — говорила она, нежно выдвигая губы, — мой бедный, бедный». И Лужин щекой терся об ее плечо, и она смутно думала, что, вероятно, бывают еще блаженства, кроме блаженства сострадания, но что до этого ей нет дела. Единственной ее заботой в жизни было ежеминутное старание возбуждать в Лужине любопытство к вещам, поддерживать его голову над темной водой, чтоб он мог спокойно

дышать. Она спрашивала Лужина по утрам, что он видел во сне, веселила его утренний аппетит то котлеткой, то английским мармеладом, водила его гулять, подолгу останавливалась с ним перед витринами, читала ему вслух после обеда «Войну и Мир», занималась с ним веселой географией, под ее диктовку он стучал на машинке. Несколько раз она повела его в музей, показала ему любимые свои картины и объяснила, что во Фландрии, где туманы и дождь, художники пишут ярко, а в Испании, стране солнца, родился самый сумрачный мастер. Говорила она еще, что вон у того есть чувство стеклянных вещей, а этот любит лилии и нежные лица, слегка припухшие от небесной простуды, и обращала его внимание на двух собак, по-домашнему ищущих крошек под узким, бедно убранным столом «Тайной Вечери». Лужин кивал и прилежно щурился, и очень долго рассматривал огромное полотно, где художник изобразил все мучения грешников в аду, — очень подробно, очень любопытно. Побывали они и в театре, и в Зоологическом саду, и в кинематографе, причем оказалось, что Лужин никогда раньше в кинематографе не бывал. Белым блеском бежала картина, и наконец, после многих приключений, дочь вернулась в родной дом

знаменитой актрисой и остановилась в дверях, а в комнате, не видя ее, поседевший отец играет в шахматы с совершенно не изменившимся за эти годы доктором, верным другом семьи. В темноте раздался отрывистый смех Лужина. «Абсолютно невозможное положение фигур», — сказал он, но тут, к великому облегчению его жены, — все переменилось, и отец, увеличиваясь, шел на зрительный зал и вовсю разыгрался, сперва расширились глаза, потом легкое дрожание, ресницы хлопнули, еще некоторое дрожание, и медленно размякли, подобрели морщины, медленная улыбка бесконечной нежности появилась на его лице, продолжавшем дрожать, — а ведь старик-то, господа, в свое время проклял дочь… Но доктор — доктор стоит в стороне, он помнит, — бедный, скромный доктор, — как она, молоденькой девочкой, в самом начале картины, бросала в него цветами через изгородь, пока он, лежа на траве, читал книгу: он тогда поднял голову: просто — изгородь, но вдруг из-за нее вырастает девический пробор, а потом пара большущих глаз, — ах ты, Господи Боже мой, какое лукавство, какая игривость! Вали, доктор, через изгородь, — вон бежит милая шалунья, прячется за стволы, — лови, лови, доктор! Но теперь все это

прошло. Склонив голову, безвольно опустив руки, в одной — шляпа, стоит знаменитая актриса, — (ведь она падшая, падшая…). А отец, продолжая дрожание, принимается медленно открывать объятья, и вдруг она опускается на колени перед ним. Лужин стал сморкаться. Когда же они вышли из кинематографа, у него были красные глаза и он покашливал и отрицал, что плакал. И на следующий день, за утренним кофе, он вдруг облокотился на стол и задумчиво сказал: «Очень, очень хорошо». Он подумал еще и добавил: «Но играть они не умеют». — «Как не умеют? — удивилась жена. — Это же первоклассные актеры». Лужин искоса взглянул на нее и сразу отвел глаза, и что-то ей не понравилось в этом. Внезапно она поняла, в чем дело, стала решать про себя вопрос, как заставить Лужина забыть эту несчастную игру в шахматы, которую дурак режиссер счел нужным ввести для настроения. Но Лужин, по-видимому, тотчас сам забыл, — увлекся настоящим русским калачом, который прислала теща, и глаза у него были опять совсем ясные.

Так прошел месяц, другой. Зима была в тот год белая, петербургская. Лужину сшили ватное пальто. Нищим русским были выданы некоторые старые лужинские вещи, — между прочим

зеленое шерстяное кашне швейцарского происхождения. Нафталинные шарики источали грустный, шероховатый запах. В прихожей висел обреченный пиджак. «Он такой комфортабельный, — взмолился Лужин, — такой чрезвычайно комфортабельный». — «Оставьте, — сказала жена из спальни. — Я его еще не осмотрела. Он, вероятно, кишит молью». Лужин снял смокинг, который примерял, чтобы посмотреть, не очень ли он располнел за последний месяц (располнел, располнел, — а завтра большой русский бал, благотворительное веселье), и с любовью влез в рукава обреченного. Милейший пиджак, никаких молей нет и в помине. Вот только в кармане дырка, но не насквозь, как иногда бывало. «Чудно», — крикнул он тонким голосом. Жена, с носком в руке, выглянула в прихожую. «Снимите, Лужин. Он же рваный, пыльный. Бог знает сколько лежал». — «Нет, нет», — сказал Лужин. Она осмотрела его со всех сторон; Лужин стоял и хлопал себя по бедрам, и, между прочим, почувствовал, что как будто есть что-то в кармане, сунул руку — нет, ничего, только дыра. «Он очень дряхлый, — проговорила жена, поморщившись, — но, может быть, как рабочая куртка...» — «Умоляю», — сказал Лужин. «Ну, Бог

с вами, — только дайте потом горничной хорошенько выколотить». «Нет, он чистый», — сказал про себя Лужин и решил его вешать где-нибудь в кабинете, в какой-нибудь шкапчик, снимать и вешать, как это делают чиновники. Снимая его, он опять почувствовал, что как будто пиджак с левой стороны чуть тяжелее, но вспомнил, что карманы пусты, и причины тяжести не исследовал. А вот смокинг стал тесноват, прямо тесноват. «Бал», — произнес Лужин и представил себе много, много кружащихся пар.

Оказалось, что бал происходит в залах одной из лучших берлинских гостиниц. У вешалок было много народа, гардеробщицы принимали и уносили вещи, как спящих детей. Лужину выдали ладный металлический номерок. Он хватился жены, но сразу нашел ее: стояла перед зеркалом. Он приложил металлический кружок к нежной впадине ее гладкой напудренной спины. «Брр, холодно», — воскликнула она, поводя лопаткой. «Под руку, под руку, — сказал Лужин. — Мы должны войти под руку». Так они и вошли. Первое, что увидел Лужин, была его теща, помолодевшая, румяная, в великолепном, сверкающем кокошнике. Она продавала крюшон, и пожилой англичанин (просто спустившийся из своего номера) быстро

пьянел, облокотясь на ее стол. На другом столе, около разноцветно освещенной елки, было лотерейное нагромождение: представительный самовар в красно-синих бликах со стороны елки, куклы в сарафанах, граммофон, ликеры (дар Смирновского). На третьем были сандвичи, итальянский салат, икра, — и прекрасная белокурая дама кричала кому-то: «Марья Васильевна, Марья Васильевна, почему опять унесли… я же просила…» «Здравия желаю», — сказал кто-то рядом, и жена подняла выгнутую по-лебединому руку. А дальше, в другом зале, была уже музыка, и в пространстве между столиками топтались и кружились танцующие; чья-то спина с размаху налетела на Лужина, и он крякнул и отступил. Жена его исчезла, и он, ища ее глазами, направился обратно, в первый зал. Тут томбола привлекла опять его внимание. Выплачивая каждый раз марку, он погружал руку в ящик и вытаскивал трубочкой свернутый билетик. Сопя носом и вытягивая губы, он долго разворачивал трубочку и, не найдя никакой цифры снутри, смотрел, нет ли ее на другой, внешней стороне, — бесполезное, но очень обычное искание. В конце концов он выиграл детскую книжку, какого-то «Кота-Мурлыку», и, не зная, что с ней делать, оставил ее на

чьем-то столике, где два полных бокала ждали возвращения танцевавшей четы. Ему стало вдруг неприятно от тесноты и движения, от взрывов музыки, и некуда было деться, и все, вероятно, смотрели на него и удивлялись, почему он не пляшет. Жена в перерывах между танцами искала его в другом зале, и на каждом шагу ее останавливали знакомые. Было очень много народу на этом балу, — был с трудом добытый иностранный посланник, и знаменитый русский певец, и две кинематографических актрисы. Ей указали на их столик: дамы напоказ улыбались, и кавалеры их — трое раскормленных мужчин режиссерско-купеческого образца — цыкали, щелкали пальцами и ругали бледного, потного лакея за медлительность и нерасторопность. Один из этих мужчин показался ей особенно противным: белозубый, с сияющими карими глазами; покончив с лакеем, он громко стал рассказывать что-то, вставляя в русскую речь самые истасканные немецкие словечки. И вдруг, ни с того ни с сего, ей стало грустно, что все смотрят на этих кинематографических дам, на певца, на посланника, и никто как будто не знает, что на балу присутствует шахматный гений, чье имя было в миллионах газет, чьи партии уже названы бессмертными. «С

вами удивительно легко танцуется. Паркет тут хороший. Извините. Ужасно тесно. Сбор будет отличный. Вот этот — из французского посольства. С вами танцуется удивительно легко». На этом обыкновенно разговор и прекращался, с ней любили танцевать, но не знали, о чем, собственно, разговаривать. Довольно красивая, но скучная молодая дама. И этот странный брак с каким-то неудачным музыкантом или что-то вроде этого. «Как вы сказали — бывший социалист? Игрок? Вы у них бываете, Олег Сергеевич?»

Тем временем Лужин нашел глубокое кресло недалеко от лестницы и глядел из-за колонны на толпу, куря тринадцатую папиросу. В другое кресло, рядом, предварительно осведомившись, не занято ли оно, сел смуглый господин с тончайшими усиками. Мимо всё проходили люди, и Лужину постепенно становилось страшно. Некуда было взглянуть, чтобы не встретить любопытствующих глаз, и по проклятой необходимости глядеть куда-нибудь он уставился на усики соседа, который, по-видимому, тоже был поражен и озадачен всем этим шумным и ненужным кавардаком. Господин, почувствовав взгляд Лужина, повернул к нему лицо. «Давно я не был на балу», — сказал он дружелюбно и усмехнулся, покачивая

головой. «Главное, не надо смотреть», — глухо произнес Лужин, устроив из ладоней подобие шор. «Я издалека приехал, — деловито сказал господин. — Меня сюда затащил приятель. Я, по правде говоря, устал». — «Усталость и тяжесть, — кивнул Лужин. — Неизвестно, что все это значит. Превосходит мою концепцию». — «В особенности если, как я, работаешь на бразильской плантации», — сказал господин. «Плантации», — как эхо, повторил за ним Лужин. «Странно у вас тут живут, — продолжал господин. — Мир открыт со всех четырех сторон, а тут отбиваются чарльстончики на весьма ограниченном кусочке паркета». — «Я тоже уеду, — сказал Лужин. — Я достал проспекты». — «Чего моя нога хочет[20], — воскликнул господин. — Вольному страннику — попутный ветер. И какие чудесные страны… Я встретил немецкого ботаника в лесах за Рио-Негро и жил с женою французского инженера на Мадагаскаре». — «Нужно будет достать, — сказал Лужин. — Очень вообще привлекательная вещь — проспекты. Все крайне подробно».

«Лужин, вот вы где», — вдруг окликнул его го-

---

[20] Примечания: 20

Ставшее крылатым выражение из драмы Н. А. Островского «Грех да беда на кого не живет» (1863); так говорят о разнузданном самодурстве, неуемном купеческом кураже.

лос жены; она быстро проходила мимо под руку с отцом. «Я сейчас вернусь, только достану для нас столик», — крикнула она, оглядываясь, и исчезла. «Ваша фамилия — Лужин?» — с любопытством спросил господин. «Да-да, — сказал Лужин, — но это не играет значения». — «Лужина я одного знал, — медленно произнес господин, щурясь (ибо память человека близорука). — Я знал одного. Вы не учились, случайно, в Балашовском училище?» — «Предположим», — ответил Лужин и, охваченный неприятным подозрением, стал вглядываться в лицо собеседника. «В таком случае мы одноклассники! — воскликнул тот. — Моя фамилия Петрищев. Помните меня? Ну конечно, помните! Вот так случай. По лицу я вас никогда бы не узнал. Нет, не вас, — тебя. Позволь, Лужин… Твое имя-отчество… Ах, кажется, помню, — Антон… Антон… Как дальше?» — «Ошибка, ошибка», — содрогнувшись, сказал Лужин. «Да, у меня память плоха, — продолжал Петрищев. — Я забыл многие имена. Вот, например, помните, — был у нас такой тихий мальчик. Потом он потерял руку в бою у Врангеля, как раз перед эвакуацией. Я видел его в церкви в Париже. Ну, как его имя?» — «Зачем это нужно? — сказал Лужин. — Зачем о нем столько говорить?» — «Нет,

не помню, — вздохнул Петрищев, оторвав ладонь ото лба. — Но вот, например, был у нас Громов: он тоже теперь в Париже; кажется, хорошо устроился. Но где другие? Где они все? Рассеялись, испарились. Странно об этом думать. Ну, а вы как живете, ты как живешь, Лужин?» — «Благополучно», — сказал Лужин и отвел глаза от лица разошедшегося Петрищева, увидев его вдруг таким, как оно было тогда: маленькое, розовое, невыносимо насмешливое. «Прекрасные были времена, — крикнул Петрищев. — Помните, помнишь, Лужин, Валентина Иваныча? Как он с картой мира ураганом влетал в класс? А тот, старичок, — ах, опять забыл фамилию, — помните, как он, трясясь, говорил: “Ну-те, тьфу, пустая голова… Позолотить бы, да и только!” Прекрасные времена. А как мы по лестнице шпарили вниз, во двор, помните? А как на вечеринке оказалось, что Арбузов умеет играть на рояле? Помните, как у него никогда опыты не выходили? И какую мы на “опыты” придумали рифму?» «…просто не реагировать», — быстро сказал про себя Лужин. «И все это рассеялось, — продолжал Петрищев. — Вот мы здесь на балу… Ах, кстати, я как будто помню… Ты чем-то таким занимался, когда ушел из школы. Что это было? Да, конечно, — шахма-

ты!» — «Нет-нет, — сказал Лужин. — Ради Бога, зачем это вы…» — «Ну, простите, — добродушно проговорил Петрищев. — Значит, я путаю. Да-да, дела… Бал в полном разгаре. А мы тут беседуем о прошлом. Я, знаете, объездил весь мир… Какие женщины на Кубе! Или вот, например, однажды в джунглях…»

«Он все врет, — раздался ленивый голос сзади. — Никогда он ни в каких джунглях не бывал».

«Ну зачем ты все портишь», — протянул Петрищев, оборачиваясь. «Вы его не слушайте, — продолжал лысый долговязый господин, обладатель ленивого голоса. — Он как попал из России в Париж, так с тех пор только третьего дня и выехал». — «Позволь, Лужин, тебе представить», — со смехом начал Петрищев; но Лужин поспешно удалялся, вобрав голову в плечи и от скорой ходьбы странно виляя и вздрагивая.

«Отваливает, — удивленно сказал Петрищев и добавил раздумчиво: — В конце концов, я, может быть, принял его за другого».

Лужин, натыкаясь на людей и с плачущим звуком восклицая: «Пардон, пардон!», все натыкаясь на людей и стараясь не смотреть на их лица, искал жену и, когда внезапно увидел, схва-

тил ее сзади за локоть, так что она, вздрогнув, обернулась; но сперва он ничего не мог сказать, слишком запыхался. «В чем дело?» — спросила она со страхом. «Уйдем, уйдем», — забормотал он, не отпуская ее локтя. «Успокойтесь, пожалуйста, Лужин, не надо так, — сказала она, слегка оттесняя его в сторону, чтобы не слышали посторонние. — Почему вы хотите уехать?» — «Там один человек, — проговорил Лужин, прерывисто дыша. — И такие неприятные разговоры». — «...которого вы прежде знали?» — спросила она тихо. «Да-да, — закивал Лужин. — Уедем. Я прошу».

Жмурясь, чтобы Петрищев не заметил его, он протиснулся в переднюю, стал шарить в карманах, отыскивая номер, нашел его, после нескольких огромных секунд переполоха и отчаяния; топтался на месте от нетерпения, пока гардеробщица, как сомнамбула, искала вещи... Он первым оделся и первым вышел, и жена быстро следовала за ним, запахивая на ходу кротовую шубу. Только в автомобиле Лужин задышал спокойно, и выражение растерянной хмурости сменилось виноватой полуулыбочкой. «Милому Лужину было неприятно», — сказала жена, гладя его по руке. «Школьный товарищ, по-

дозрительный субъект», — пояснил Лужин. «Но теперь милому Лужину хорошо», — прошептала жена и поцеловала его мягкую руку. «Теперь все прошло», — сказал Лужин.

Но это было не совсем так. Что-то осталось, — загадка, заноза. По ночам он стал задумываться над тем, почему так жутка была эта встреча. Конечно, были всякие отдельные неприятности, — то, что Петрищев когда-то мучил его в школе, а теперь вспомнил косвенным образом некую растерзанную книжку, и то, что целый мир, полный экзотических соблазнов, оказался обманом хлыща, и уже нельзя было впредь доверять проспектам. Но не сама встреча была страшна, а что-то другое, — тайный смысл этой встречи, который следовало разгадать. Он стал по ночам напряженно думать, как, бывало, думал Шерлок над сигарным пеплом, — и постепенно ему стало казаться, что комбинация еще сложнее, чем он думал сперва, что встреча с Петрищевым только продолжение чего-то и что нужно искать глубже, вернуться назад, переиграть все ходы жизни от болезни до бала.

13

На сизом катке (там, где летом площадки для тенниса), слегка припудренном сухим снежком, опасливо резвились горожане, и в ту минуту, как мимо, по тротуару, проходили Лужины, совершавшие утреннюю прогулку, самый бойкий из конькобежцев, молодец в свитере, изящно раскатился голландским шагом и с размаху сел на лед. Дальше, в небольшом сквере, трехлетний ребенок, весь в красном, шатко ступая шерстяными ножками, поплелся к тумбе, беспалой ладошкой загреб снег, лежавший аппетитной горкой, и поднес его ко рту, за что сразу был схвачен сзади и огрет. «Ах ты, бедненький», — оглянувшись, сказала Лужина. По убеленной мостовой проехал автобус, оставив за собой две толстых, черных полосы. Из магазина говорящих и играющих аппаратов раздалась зябкая музыка, и кто-то прикрыл дверь, чтобы музыка не простудилась. Такса в заплатанном синем пальтишке, с низко болтающимися ушами, остановилась, обнюхивая снег, и Лужина успела ее погладить. Что-то легкое, острое, белесое било в лицо, и, если посмотреть на пустое небо, светленькие

точки плясали в глазах. Лужина поскользнулась и укоризненно взглянула на свои серые ботики. Около русского гастрономического магазина встретили знакомых, чету Алферовых. «Холодина какая», — воскликнул Алферов, тряся желтой своей бородкой. «Не целуйте, перчатка грязная», — сказала Лужина и спросила у Алферовой, с улыбкой глядя на ее прелестное, всегда оживленное лицо, почему она никогда не зайдет. «А вы полнеете, сударь», — буркнул Алферов, игриво косясь на лужинский живот, преувеличенный ватным пальто. Лужин умоляюще посмотрел на жену. «Так что, милости просим», — закивала она. «Постой, Машенька, телефон ты их знаешь? — спросил Алферов. — Знаешь? Ладно. Ну-с, пока, — как говорят по-советски. Нижайший поклон вашей матушке».

«Он какой-то несчастненький, — сказала Лужина, взяв мужа под руку и меняя шаг, чтобы идти с ним в ногу. — Но Машенька… Какая душенька, какие глаза… Не идите так скоро, милый Лужин, — скользко».

Снег сеять перестал, небо в одном месте бледно посветлело, и там проплыл плоский, бескровный солнечный диск. «А знаете, мы сегодня пойдем так, направо, — предложила Лужина. — Мы,

кажется, еще там не проходили». — «Апельсины», — сказал Лужин, указывая тростью на лоток. «Хотите купить? — спросила жена. — Смотрите, мелом на доске: сладкие, как сахар». — «Апельсины», — повторил со вкусом Лужин и вспомнил при этом, как его отец утверждал, что, когда произносишь «лимон», делаешь поневоле длинное лицо, а когда говоришь «апельсин» — широко улыбаешься. Торговка ловко расправила отверстие бумажного мешочка и насовала в него холодных, щербато-красных шаров. Лужин на ходу стал чистить апельсин, морщась в предвидении того, что сок брызнет в глаза. Корки он положил в карман, так как они выглядели бы слишком ярко на снегу, да и, пожалуй, можно сделать из них варенье. «Вкусно?» — спросила жена. Он просмаковал последнюю дольку и с довольной улыбкой взял было жену опять под руку, но вдруг остановился, озираясь. Подумав, он пошел обратно к углу и посмотрел на название улицы. Потом быстро догнал жену и ткнул тростью по направлению ближайшего дома, обыкновенного серо-каменного дома, отделенного от улицы небольшим палисадником за чугунной решеткой. «Тут мой папаша обитал, — сказал Лужин. — Тридцать пять А». — «Тридцать пять

А», — повторила за ним жена, не зная, что сказать, и глядя вверх, на окна. Лужин тронулся, срезая тростью снег с решетки. Немного дальше он замер перед писчебумажным магазином, где в окне бюст воскового мужчины с двумя лицами, одним печальным, другим радостным, поочередно отпахивал то слева, то справа пиджак: самопишущее перо, воткнутое в левый карманчик белого жилета, окропило белизну чернилами, справа же было перо, которое не течет никогда. Лужину двуликий мужчина очень понравился, и он даже подумал, не купить ли его. «Послушайте, Лужин, — сказала жена, когда он насытился витриной. — Я давно хотела вас спросить, — ведь после смерти вашего отца остались, должно быть, какие-нибудь вещи. Где все это?» Лужин пожал плечами. «Был такой Хрущенко», — пробормотал он погодя. «Не понимаю», — вопросительно сказала жена. «В Париж мне написал, — нехотя пояснил Лужин, — что вот, смерть и похороны и все такое, и что у него сохраняются вещи, оставшиеся после покойника». — «Ах, Лужин, — вздохнула жена. — Что вы делаете с русским языком». Она подумала и добавила: «Мне-то все равно, мне только казалось, что вам было бы приятно иметь эти вещи, — ну, как память». Лужин промолчал. Она представила

себе эти никому не нужные вещи, — быть может, писательское перо старика Лужина, какие-нибудь бумаги, фотографии, — и ей стало грустно, она мысленно упрекнула мужа в жестокосердии. «Но одно нужно сделать непременно, — сказала она решительно. — Мы должны поехать на кладбище, посмотреть на могилу, посмотреть, не запущено ли». — «Холодно и далеко», — сказал Лужин. «Мы это сделаем на днях, — решила она. — Погода должна перемениться. Пожалуйста, осторожно, — автомобиль».

Погода ухудшилась, и Лужин, помня унылый пустырь и кладбищенский ветер, просил отложить поездку до будущей недели. Мороз, кстати сказать, был необыкновенный. Закрылся каток, которому вообще не везло: в прошлую зиму все оттепель да оттепель, и лужа вместо льда, а в нынешнем такой холод, что и школьникам не до коньков. В парках, на снегу, лежали маленькие, крутогрудые птицы с поднятыми лапками. Безвольная ртуть под влиянием среды падала все ниже. И даже полярные медведи в Зоологическом саду поеживались, находя, что дирекция переборщила.

Квартира Лужиных оказалась одной из тех благополучных квартир с героическим централь-

ным отоплением, в которых не приходилось сидеть в шубах и пледах. Родители жены, обезумев от холода, чрезвычайно охотно приходили к центральному отоплению в гости. Лужин, в старом пиджаке, спасенном от гибели, сидел у письменного стола и старательно срисовывал белый куб, стоявший перед ним. Тесть ходил по кабинету и рассказывал длинные, совершенно приличные анекдоты или читал на диване газету, изредка набирая воздух и откашливаясь. Теща и жена оставались за чайным столом, и из кабинета, через темную гостиную, был виден яркий, желтый абажур в столовой, освещенный профиль жены на буром фоне буфета, ее голые руки, которые, далеко облокотившись на скатерть, она загнула к одному плечу, скрестив пальцы, или вдруг плавно вытягивала руку и трогала какой-нибудь блестящий предмет на скатерти. Лужин отставлял куб и, взяв чистый лист бумаги, приготовив жестяной ящик с пуговицами акварельной краски, спешил зарисовать эту даль, но, покамест тщательно, при помощи линейки, он выводил линии перспективы, в глубине что-то менялось, жена исчезала из яркой проймы столовой, свет потухал и зажигался поближе, в гостиной, и уже никакой перспективы не было.

До красок вообще доходило редко, да и, по правде сказать, Лужин предпочитал карандаш. От сырости акварели неприятно коробилась бумага, мокрые краски сливались; порой нельзя было отвязаться от какой-нибудь чрезвычайно живучей берлинской лазури, — наберешь ее только на самый кончик кисточки, а она уже расползается по эмали, пожирая приготовленный тон, и вода в стаканчике ядовито-синяя. Были плотные трубочки с китайской тушью и белилами, но неизменно терялись колпачки, подсыхало горлышко, и при нажатии трубочка лопалась снизу, и оттуда вылезал, виясь, толстый червячок краски. Бесплодная выходила пачкотня, и самые простые вещи — ваза с цветами или закат, скопированный из проспекта Ривьеры, — получались пятнистые, болезненные, ужасные. Рисовать же было приятно. Он нарисовал тещу, и она обиделась; нарисовал в профиль жену, и она сказала, что если она такая, то нечего было на ней жениться; зато очень хорошо вышел высокий крахмальный воротник тестя. С удовольствием Лужин чинил карандаш, мерил что-то, прищурив глаз и подняв карандаш с прижатым к нему большим пальцем, и осторожно двигал по бумаге резинкой, придерживая лист ладонью, так как по

опыту знал, что иначе лист с треском даст складку. И очень деликатно он сдувал атомы резины, боясь прикосновением руки загрязнить рисунок. Больше всего он любил то, с чего начал по совету жены, то, к чему постоянно возвращался, — белые кубы, пирамиды, цилиндры и кусок гипсового орнамента, напоминавший ему урок рисования в школе, — единственный приемлемый урок. Успокоительны были тонкие линии, которые он по сто раз перечерчивал, добиваясь предельной тонкости, точности, чистоты. И замечательно хорошо было тушевать, нежно и ровно, не слишком нажимая, правильно ложащимися штрихами.

«Готово», — сказал он, отстраняя от себя лист и сквозь ресницы глядя на дорисованный куб. Тесть надел пенсне и долго смотрел, кивая головой. Из гостиной пришли теща и жена и стали смотреть тоже. «Он даже маленькую тень отбрасывает, — сказала жена. — Очень, очень симпатичный куб». — «Здорово, прямо футуристика», — проговорила теща. Лужин, улыбаясь одной стороной рта, взял рисунок и оглядел стены кабинета. Около двери уже висело одно его произведение: поезд на мосту, перекинутом через пропасть. В гостиной тоже было кое-что: череп на телефонной книжке. В столовой были очень круглые

апельсины, которые все почему-то принимали за томаты. А спальню украшал углем сделанный барельеф и конфиденциальный разговор конуса с пирамидой. Он ушел из кабинета, блуждая по стенам глазами, и жена сказала со вздохом: «Интересно, куда милый Лужин это повесит».

«Меня еще не сочли нужным уведомить», — начала мать, указывая подбородком на груду пестрых проспектов, лежавших на столе. «А я сама не знаю, — сказала Лужина. — Очень трудно решить, всюду красиво. Я думаю, мы сперва поедем в Ниццу». — «Я бы посоветовал Итальянские озера», — заговорил отец, сложив газету и сняв пенсне, и стал рассказывать, как эти озера прекрасны. «Я боюсь, ему немного надоели разговоры о путешествии, — сказала Лужина. — Мы в один прекрасный день просто сядем в поезд и покатим». — «Не раньше апреля, — умоляюще протянула мать. — Ты же мне обещала…»

Лужин вернулся в кабинет. «У меня значилась коробочка с кнопками», — сказал он, глядя на письменный стол и хлопая себя по карманам (при этом он опять, в третий или четвертый раз, почувствовал, что в левом кармане что-то есть, — но не коробочка, — и некогда было расследовать). Кнопки нашлись в столе. Лужин взял

их и поспешно вышел.

«Да, я совсем забыла тебе рассказать. Представь себе, вчера утром…» И она стала рассказывать дочери, что звонила ей одна дама, неожиданно приехавшая из России. Эта дама барышней часто бывала у них в Петербурге. Оказалось, что несколько лет тому назад она вышла замуж за советского купца или чиновника — точно нельзя было разобрать — и по пути на курорт, куда муж ехал набираться новых сил, остановилась недельки на две в Берлине. «Мне, знаешь, как-то неловко, чтобы она бывала у меня, но она такая навязчивая. Удивляюсь, что она не боится звонить ко мне. Ведь если у нее там, в Совдепии, узнают, что она ко мне звонила…» — «Ах, мама, это, вероятно, очень несчастная женщина, — вырвалась временно на свободу, хочется повидать кого-нибудь». — «Ну, так я тебе ее передам, — облегченно сказала мать, — благо у тебя теплее».

И как-то, через несколько дней, в полдень появилась приезжая. Лужин еще почивал, так как ночью плохо выспался. Дважды с гортанным криком просыпался, душимый кошмаром, и сейчас Лужиной было как-то не до гостей. Приезжая оказалась худощавой, живой, удачно накрашенной и остриженной дамой, одетой,

как одевалась Лужина, с недешевой простотой. Громко, вперебивку, убеждая друг друга, что обе они ничуть не изменились, а разве только похорошели, они прошли в кабинет, где было уютней, чем в гостиной. Приезжая про себя отметила, что Лужина десять — двенадцать лет тому назад была довольно изящной, подвижной девочкой, а теперь пополнела, побледнела, притихла, а Лужина нашла, что скромная, молчаливая барышня, некогда бывавшая у них и влюбленная в студента, впоследствии расстрелянного, превратилась в очень интересную, уверенную даму. «Ну и ваш Берлин… благодарю покорно. Я чуть не сдохла от холода. У нас в Ленинграде теплее, ей-богу, теплее». — «Какой он, Петербург? Наверно, очень изменился?» — спросила Лужина. «Конечно, изменился», — бойко ответила приезжая. «И тяжелая, тяжелая жизнь», — вдумчиво кивая, сказала Лужина. «Ах, глупости какие! Ничего подобного. Работают у нас, строят. Даже мой мальчуган, — как, вы не знали, что у меня есть мальчуган? — ну как же, как же, очаровательный карапуз, — так вот, даже мой Митька говорит, что у нас в Ленингляде ляботают, а в Беллине бульзуи ничего не делают. И вообще, он находит, что в Берлине куда хуже, ни на что даже

не желает смотреть. Он такой, знаете, наблюдательный, чуткий… Нет, серьезно говоря, ребенок прав. Я сама чувствую, как мы опередили Европу. Возьмите наш театр. Ведь у вас, в Европе, театра нет, просто нет. Я, понимаете, ничуть, ничуть не хвалю коммунистов. Но приходится признать одно: они смотрят вперед, они строят. Интенсивное строительство». — «Я ничего в политике не понимаю, — жалобно протянула Лужина. — Но только мне кажется…» — «Я только говорю, что нужно широко мыслить, — поспешно продолжала приезжая. — Вот, например, я сразу, как приехала, купила эмигрантскую газетку. И еще муж говорит, так, в шутку, — зачем ты, матушка, деньги тратишь на такое дерьмо, — он хуже выразился, но скажем так для приличия, — а я вот: нет, говорю, все нужно посмотреть, все узнать, совершенно беспристрастно. И представьте, — открываю газету, читаю, и такая там напечатана клевета, такая ложь, так все плоско». — «Я русские газеты редко вижу, — виновато сказала Лужина. — Вот мама получает русскую газету, из Сербии, кажется…» — «Круговая порука, — продолжала с разбегу приезжая. — Только ругать, и никто не смеет пикнуть что-нибудь за». — «Право же, будем говорить о другом, — растерянно сказала

Лужина. — Я не могу это выразить, я плохо умею об этом говорить, но я чувствую, что вы ошибаетесь. Вот, если хотите поговорить об этом с моими родителями как-нибудь…» — (и, говоря это, Лужина, не без некоторого удовольствия, представила себе выкаченные глаза матери и ее павлиньи возгласы). «Ну, вы еще маленькая, — снисходительно улыбнулась приезжая. — Расскажите мне, что вы делаете, чем занимается ваш муж, какой он». — «Он играл в шахматы, — ответила Лужина. — Замечательно играл. Но потом переутомился и теперь отдыхает, и, пожалуйста, не нужно с ним говорить о шахматах». — «Да-да, я знаю, что он шахматист, — сказала приезжая. — Но какой он? Реакционер? Белогвардеец?» — «Право, не знаю», — рассмеялась Лужина. «Я о нем вообще кое-что слышала, — продолжала приезжая. — Когда мне ваша maman сказала, что вы вышли за Лужина, я сразу и подумала почему-то, что это он и есть. У меня была хорошая знакомая в Ленинграде, она и рассказывала мне, — с такой, знаете, наивной гордостью, — как научила своего маленького племянника играть в шахматы и как он потом стал чрезвычайно…»

На этом месте разговора произошел в соседней гостиной странный шум, словно там кто-то

ушибся и вскрикнул. «Одну минуточку», — сказала Лужина и, вскочив с дивана, хотела было раздвинуть дверь в гостиную, но, передумав, прошла в гостиную через прихожую. Там она увидела совершенно неожиданного Лужина. Он был в халате, в ночных туфлях, держал в одной руке кусок булки, — но, конечно, не это было удивительно, — удивительно было дрожащее волнение, искажавшее его лицо, широко открытые, блестящие глаза, и лоб у него словно разбух, жила вздулась, и, увидев жену, он как бы сразу не обратил на нее внимания, а продолжал стоять, глядя с разинутым ртом в сторону кабинета. В следующее мгновение оказалось, что волнение его радостно. Он как-то радостно щелкнул зубами на жену и потом тяжело закружился, чуть не опрокинул пальму, потерял одну туфлю, которая скользнула, как живая, в столовую, где дымилось какао, и он проворно последовал за ней. «Я ничего, ничего», — лукаво сказал Лужин и, как человек, наслаждающийся тайной находкой, хлопнул себя по коленям и, жмурясь, замотал головой. «Эта дама из России, — пытливо сказала жена. — Она знает вашу тетку, которая, — ну, одним словом, одну вашу тетку». — «Отлично, отлично», — проговорил Лужин и вдруг захлеб-

нулся смехом. «Чего я пугаюсь? — подумала она. — Ему просто весело, он проснулся в хорошем настроении, хотел, может быть —» — «Есть какая-нибудь шуточка, Лужин?» — «Да-да, — сказал Лужин и добавил, найдя выход: — Я хотел представиться в халате». — «Ну вот, нам весело, это хорошо, — сказала она с улыбкой. — Вы покушайте, а потом одевайтесь. Сегодня как будто теплее». И Лужина, оставив мужа в столовой, быстро вернулась в кабинет. Гостья сидела на диване и рассматривала виды Швейцарии на страницах путеводительной брошюрки. «Послушайте, — сказала она, увидя Лужину, — а я вас возьму в оборот. Мне нужно кое-что купить, и я абсолютно не знаю, где тут лучшие магазины. Вчера битый час простояла перед витриной, стою и думаю: может быть, есть магазины еще лучше. Да и по-немецки я что-то неважно…»

Лужин остался сидеть в столовой и продолжал изредка хлопать себя по коленям. Да и было чему радоваться. Комбинация, которую он со времени бала мучительно разгадывал, неожиданно ему открылась, благодаря случайной фразе, долетевшей из другой комнаты. В эти первые минуты он еще только успел почувствовать острую радость шахматного игрока, и гордость,

и облегчение, и то физиологическое ощущение гармонии, которое так хорошо знакомо творцам. Он еще проделал много мелких движений, прежде чем понял сущность необыкновенного своего открытия, — допил какао, побрился, переставил запонки в свежую рубашку. И вдруг радость пропала, и нахлынул на него мутный и тяжкий ужас. Как в живой игре на доске бывает, что неясно повторяется какая-нибудь задачная комбинация, теоретически известная, — так намечалось в его теперешней жизни последовательное повторение известной ему схемы. И как только прошла первая радость, — что вот, он установил самый факт повторения, — как только он стал тщательно проверять свое открытие, Лужин содрогнулся. Смутно любуясь и смутно ужасаясь, он прослеживал, как страшно, как изощренно, как гибко повторялись за это время, ход за ходом, образы его детства (и усадьба, и город, и школа, и петербургская тетя), но еще не совсем понимал, чем это комбинационное повторение так для его души ужасно. Одно он живо чувствовал: некоторую досаду, что так долго не замечал хитрого сочетания ходов, и теперь, вспоминая какую-нибудь мелочь, — а их было так много и иногда так искусно поданных, что почти

скрывалось повторение, — Лужин негодовал на себя, что не спохватился, не взял инициативы, а в доверчивой слепоте позволил комбинации развиваться. Теперь же он решил быть осмотрительнее, следить за дальнейшим развитием ходов, если таковое будет, — и конечно, конечно, держать открытие свое в непроницаемой тайне, быть веселым, чрезвычайно веселым. Но с этого дня покоя для него не было, — нужно было придумать, пожалуй, защиту против этой коварной комбинации, освободиться от нее, а для этого следовало предугадать ее конечную цель, роковое ее направление, но это еще не представлялось возможным. И мысль, что повторение будет, вероятно, продолжаться, была так страшна, что ему хотелось остановить часы жизни, прервать вообще игру, застыть, и при этом он замечал, что продолжает существовать, что-то подготовляется, ползет, развивается, и он не властен прекратить движение.

Быть может, жена скорее бы заметила перемену в Лужине, его деревянную веселость в перерывах хмурости, если бы в эти дни больше бывала с ним. Но так случилось, что именно в эти дни ее взяла в оборот, как и обещала сделать, неотвязная дама из России — часами заставляла себя

возить по магазинам, неторопливо примеряла шляпы, платья, туфли и подолгу засиживалась у Лужиных. Она по-прежнему говорила о том, что в Европе нет театра, и с холодной легкостью произносила «Ленинград», и Лужина почему-то жалела ее, сопровождала ее в кафе, покупала ее сынку, мрачному, толстому мальчику, лишенному при чужих дара речи, игрушки, которые он нехотя и боязливо брал, причем его мать утверждала, что ничто ему тут не нравится и что он мечтает вернуться к своим маленьким пионерам. Встретилась она и с родителями Лужиной, но разговора о политике, к сожалению, не произошло, вспоминали прежних знакомых, а Лужин молча и сосредоточенно кормил Митьку шоколадными конфетами, и Митька их молча и сосредоточенно поглощал, и потом сильно покраснел, и был поспешно уведен из комнаты. Погода меж тем потеплела, и раза два Лужина говорила мужу, что вот, когда уедет наконец эта несчастная женщина с несчастным своим ребенком и неудобопоказуемым мужем, надо будет в первый же день, не откладывая, побывать на кладбище, и Лужин кивал, старательно улыбаясь. Пишущую машинку, географию, рисование он забросил, зная теперь, что все это входило в комбинацию,

было замысловатым повторением зафиксированных в детстве ходов. Нелепые дни: Лужина чувствовала, что недостаточно внимательна к настроениям мужа, ускользало что-то, но все же она продолжала вежливо слушать болтовню приезжей, переводить приказчикам ее требования, и особенно было неприятно, когда какие-нибудь туфли, уже раз ношенные, оказывались почему-либо негодными, и нужно было с ней идти в магазин, и раскрасневшаяся дама по-русски распекала фирму, требовала, чтобы переменили туфли, и нужно было ее успокаивать и очень вуалировать в немецкой передаче хлесткие ее словечки. Вечером, накануне своего отъезда, она пришла вместе с Митькой прощаться. Митьку она оставила в кабинете, а сама пошла в спальню с Лужиной, и та в сотый раз показывала ей свой гардероб. Митька сидел на диване и почесывал колено, стараясь не смотреть на Лужина, который тоже не знал, куда смотреть, и придумывал, чем занять рыхлое дитя. «Телефон!» — наконец тонким голосом воскликнул Лужин и, указывая пальцем на аппарат, с нарочитым удивлением захохотал. Но Митька, хмуро посмотрев по направлению лужинского пальца, отвел глаза, и нижняя губа у него чуть-чуть отвисла. «Поезд и

пропасть!» — попробовал опять Лужин и простер другую руку, указывая на собственную картину на стене. У Митьки блестящей капелькой наполнилась левая ноздря, и он потянул носом, безучастно глядя перед собой. «Автор одной божественной комедии!» — рявкнул Лужин, подняв руку к бюсту Данте. Молчание, легкое сопение. Лужин устал от своих гимнастических движений и тоже замер. Он стал соображать, нет ли в столовой конфет, подумал, не пустить ли в гостиной граммофон, но мальчик на диване его гипнотизировал одним своим присутствием, и невозможно было выйти из комнаты. «Игрушку бы», — сказал он про себя, посмотрел на стол, примерил разрезательный нож к любопытству ребенка, нашел, что любопытство возбуждено им не будет, и в отчаянии стал рыться у себя в карманах. И тут снова, в который уже раз, он почувствовал, что левый карман хоть и пуст, но каким-то таинственным образом хранит в себе некоторое неосязаемое содержание. Лужин подумал, что такой феномен способен заинтересовать Митьку. Он сел с ним рядом на край дивана, хитро подмигнул. «Фокус, — сказал он и стал показывать, что карман пуст. — Эта дырка не имеет отношения к фокусу», — пояснил он. Вя-

ло и недоброжелательно Митька смотрел на его движения. «А все ж таки тут что-то имеется», — восторженно сказал Лужин и опять подмигнул. «За подкладкой», — выцедил из себя Митька и, пожав плечом, отвернулся. «Правильно!» — изображая восхищение, крикнул Лужин и стал совать руку в дырку, придерживая другой рукой полу пиджака. Сперва показался какой-то красный угол, потом и вся вещь — нечто вроде плоской кожаной записной книжки. Лужин посмотрел на нее, подняв брови, повертел в руках и, вынув клапанчик сбоку, осторожно ее открыл. Не книжечка, а маленькая складная шахматная доска из сафьяна. Лужин тотчас вспомнил, что ему подарили ее в парижском клубе, — всем участникам тамошнего турнира раздали по такой вещице, — в виде рекламы, что ли, какой-то фирмы, а не то просто на память от клуба. В отделениях, по сторонам самой доски, были целлулоидовые штучки, похожие на ноготки, и на каждой — изображение шахматной фигуры. Эти штучки вставлялись так, что острая часть въезжала в тонкую щелку на нижнем крае каждого квадрата, а округленная часть с нарисованной фигурой ложилась плоско на квадрат. Получалось очень изящно и аккуратно, — эта маленькая красно-белая доска, ладные

целлулоидовые ноготки, да еще тисненные золотом буквы вдоль горизонтального края доски и золотые цифры вдоль вертикального. Лужин, разинув рот от удовольствия, стал всовывать ноготки, — сперва просто ряд пешек на второй линии, — но потом передумал и, осторожно, кончиками пальцев, беря вдвижные изображеньица, расставил то положение в его партии с Турати, на котором ее прервали. Эта расстановка произошла почти мгновенно, и сразу вся вещественная сторона дела отпала: маленькая доска, раскрытая у него на ладони, стала неосязаемой и невесомой, сафьян растаял розовой мутью, все исчезло, кроме самого шахматного положения, сложного, острого, насыщенного необыкновенными возможностями. Лужин, приложив палец к виску, так задумался, что не заметил, как Митька, от нечего делать, сполз с дивана и принялся раскачивать черный ствол стоячей лампы. Вдруг она накренилась, и потух свет. Лужин очнулся в полной темноте и в первое мгновение не понял, где он и что кругом происходит. Невидимое существо ерзало и покрякивало где-то рядом, и внезапно оранжевый абажур опять засиял прозрачным светом, и бледный, с обритой головой мальчик стоял на коленях и поправлял шнур.

Лужин вздрогнул и захлопнул доску. Маленький, страшный его двойник, маленький Лужин, для которого расставлялись шахматы, прополз на коленках по ковру… Все это уже было раз… И опять он попался, не понял, как произойдет в живой игре повторение знакомой темы. И в следующий миг все пришло в равновесие: Митька, посапывая, всполз на диван; в легком сумраке вокруг оранжевой лампы плавал, покачиваясь, лужинский кабинет; красная сафьяновая книжечка невинно лежала на ковре, — но Лужин знал, что это все обман, комбинация еще не вся развилась и вскоре наметится новое роковое повторение. Быстро нагнувшись, он схватил и сунул в карман вещественный символ того, что так сладостно и ужасно завладело опять его воображением, и подумал, куда бы еще вернее спрятать, но тут послышались голоса, вошли жена и гостья, обе поплыли на него, как бы сквозь папиросный дым. «Митька, вставай, пора. Да-да, милая, мне еще столько нужно уложить», — говорила дама и потом подошла к Лужину и стала с ним прощаться. «Очень была рада познакомиться», — сказала она и промеж слов успела подумать, что уже думала не раз: «Ну и балда, ну и типчик!» «Очень была рада. Вот расскажу вашей тетушке, что видела

ее маленького шахматиста, ставшего большим, известным…» — «Вы должны непременно навестить нас на обратном пути», — поспешно и громко прервала Лужина, впервые взглянув с ненавистью на улыбающиеся, красные, как сургуч, губы и беспощадно глупые глаза. «Ну, еще бы, само собой разумеется. Митька, встань и попрощайся!» Митька с легким отвращением это исполнил, и все вышли в прихожую. «У вас тут в Берлине всегда возня с выпусканиями», — насмешливо сказала она, глядя, как Лужина берет с подзеркальника ключи. «Нет, у нас лифт», — невпопад ответила Лужина, в неистовом нетерпении мечтая об уходе дамы, и бровью сделала знак мужу, чтобы он подал котиковое пальто. Лужин снял с вешалки детское пальтишко… но в это мгновение, к счастью, подоспела горничная. «До свидания, до свидания», — кланялась Лужина, стоя в дверях, пока гости, сопровождаемые горничной, располагались в лифте. Из-за жениного плеча Лужин видел, как Митька взлезает на лавочку, а затем дверные половинки закрылись, и лифт в своей железной клетке погрузился и исчез. Лужина побежала в кабинет и упала ничком на диван. Он сел с ней рядом и стал в недрах своих с трудом вырабатывать, склеивать, сшивать

улыбку, готовя ее для того мгновения, когда жена к нему повернется. Жена повернулась. Улыбка вышла вполне удачная. «Ух, — вздохнула Лужина, — наконец-то избавились», — и, быстро обняв мужа, стала целовать его — в правый глаз, потом в подбородок, потом в левое ухо, — соблюдая строгую череду, им когда-то одобренную. «Ну, прояснитесь, прояснитесь, — повторяла она. — Ведь эта мадам уехала, исчезла». — «Исчезла», — покорно сказал Лужин и, вздохнув, поцеловал руку, трепавшую его за шею. «Нежности-то какие, — шепнула жена, — ах, какие милые нежности…»

Пора было ложиться спать, она ушла раздеваться, а Лужин ходил по всем трем комнатам, отыскивая место, где бы спрятать карманные шахматы. Всюду было небезопасно. В самые неожиданные места совался по утрам хобот хищного пылесоса. Трудно, трудно спрятать вещь, — ревнивы и нерадушны другие вещи, крепко держащиеся своих мест, и не примут они ни в какую щель бездомного, спасающегося от погони предмета. В этот вечер он так и не спрятал сафьяновой книжечки, а затем решил ее не прятать вовсе, а просто отделаться от нее, но это тоже оказалось нелегко; так и осталась она у него за подкладкой, и только через несколько

месяцев, когда всякая опасность давно, давно миновала, только тогда сафьяновая книжечка опять нашлась, и уже темно было ее происхождение.

14

Лужина призналась самой себе, что для нее не прошло бесследно трехнедельное пребывание дамы из России. В суждениях дамы была ложь и глупость, — но как это докажешь? Она ужаснулась тому, что в продолжение последних лет так мало занималась наукой изгнания, равнодушно принимая лаком и золотой вязью блещущие воззрения своих родителей и без внимания слушая речи на собраниях, которые одно время полагалось посещать. Ей пришло в голову, что и Лужин, быть может, найдет вкус в гражданственных изысканиях, быть может, увлечется, как, по-видимому, увлекаются этим миллионы умных людей. А новое занятие для Лужина было необходимо. Он стал странен, появилась знакомая ей хмурость, и бывало у него часто такое скользящее выражение глаз, будто он что-то от нее скрывает. Ее волновало, что еще ни к чему он по-настоящему не пристрастился, и она корила себя, что, по узости умственного зрения, не может найти ту область, ту идею, тот предмет, которые дали бы работу и пищу бездействующим талантам Лужина. Она знала, что нужно спешить, что каждая

пустующая минута лужинской жизни — лазейка для призраков. До отъезда в живописные страны надобно было найти для Лужина занимательную игру, а уж потом обратиться к бальзаму путешествий, решительному средству, которым лечатся от хандры романтические миллионеры.

Началось с газет. Она стала выписывать «Знамя», «Россиянина», «Зарубежный Голос», «Объединение», «Клич», купила последние номера эмигрантских журналов и, для сравнения, несколько советских журналов и газет. Было решено, что ежедневно после обеда они будут друг другу читать вслух. Заметив, что в некоторых газетах попадается шахматный отдел, она сперва подумала, не вырезать ли эти места, но побоялась этим обидеть Лужина. Раза два, как пример интересной игры, мелькнули старые лужинские партии. Это было неприятно и опасно. Прятать номера с шахматным отделом не удавалось, так как Лужин копил газеты, желая впоследствии их переплести в виде больших книг. Когда в газете, им открытой, оказывалась темная шахматная диаграмма, она следила за выражением его лица, но ее взгляд он чувствовал и на диаграмму смотрел только мимоходом. И она не знала, с каким грешным нетерпением он

ожидал тех четвергов или понедельников, когда бывал шахматный отдел, и не знала, с каким любопытством он просматривал в ее отсутствие напечатанные партии. Задачи же он запоминал сразу, искоса взглянув на рисунок и схватив этим взглядом распределение фигур, и потом решал про себя, пока жена вслух читала ему передовую. «…Вся деятельность исчерпывается коренным изменением и дополнением, которые должны обеспечить…» — ровным голосом читала жена. «Построение любопытное, — думал Лужин. — Ферзь черных совершенно свободен». «…проводит четкую грань между жизненными интересами, причем нелишним было бы отметить, что ахиллесова пята этой карающей длани…» «Против угрозы на аш-семь у черных есть очевидная защита», — думал Лужин и механически улыбнулся, оттого что жена, прервав на миг чтение, вдруг сказала вполголоса: «Не понимаю». «Если в этом плане, — продолжала она, — рассматривать их дальнейшие планы…» «Ах, какая роскошь», — мысленно воскликнул Лужин, найдя ключ к задаче — очаровательно изящную жертву. «…и катастрофа не за горами», — докончила статью жена и, окончив, вздохнула. Дело в том, что чем внимательнее она читала газеты, тем ей ста-

новилось скучнее, и туманом слов и метафор, предположений и выводов заслонялась ясная истина, которую она всегда чувствовала и никогда не могла выразить. Когда же она обращалась к газетам потусторонним, советским, то уже скуке не было границ. От них веяло холодом гробовой бухгалтерии, мушиной канцелярской тоской, и чем-то они ей напоминали образ маленького чиновника с мертвым лицом в одном учреждении, куда пришлось зайти в те дни, когда ее и Лужина гнали из канцелярии в канцелярию ради какой-то бумажки. Чиновник был обидчивый и замученный, и ел диабетический хлебец, и, вероятно, получал мизерное жалованье, был женат, и у ребенка была сыпь по всему телу. Бумажке, которой у них не было и которую следовало достать, он придавал значение космическое, весь мир держался на этой бумажке и безнадежно рассыпался в прах, если человек был ее лишен. Мало того: оказывалось, что Лужины получить ее не могли, прежде чем не истекут чудовищные сроки, тысячелетия отчаяния и пустоты, и одним только писанием прошений было позволено облегчать себе эту мировую скорбь. Чиновник огрызнулся на бедного Лужина за курение в присутственном месте, и Лужин, вздрогнув, сунул

окурок в карман. В окно был виден строящийся дом в лесах, косой дождь; в углу комнаты висел черный пиджачок, который чиновник в часы работы менял на люстриновый, и от его стола было общее впечатление лиловых чернил и все того же трансцендентального уныния. Они ушли, ничего не получив, и Лужина чувствовала, словно ей пришлось повоевать с серой и слепой вечностью, которая и победила ее, брезгливо оттолкнув робкую земную мзду — три сигары. Бумажку они получили в другом учреждении мгновенно. Лужина потом с ужасом думала, что маленький чиновник, уславший их, представляет себе, вероятно, как они безутешными призраками бродят в безвоздушных пространствах, и, быть может, все ждет их покорного, рыдающего возвращения. Ей было неясно, почему именно его образ мерещился ей, как только она принималась за московскую газету. Скука и жалость были, что ли, такого же свойства, но ей было мало этого, ум не был удовлетворен, — и вдруг она понимала, что тоже ищет формулу, официальное воплощение чувства, а дело совсем не в том. Уму была непостижима сложная борьба туманных мнений, высказываемых различными газетами изгнания; это разнообразие мнений особенно поразило ее,

привыкшую равнодушно думать, что все, которые не мыслят так, как ее родители, мыслят так, как хромой забавник, говоривший о социологии толпе смешливых девиц. Оказывалось, что были тончайшие оттенки мнений и ехиднейшая вражда, — и если все это было слишком сложно для ума, то душа одно начинала постигать совершенно отчетливо: и тут, и там мучат или хотят мучить, но там муки и хотение причинить муку в сто крат больше, чем тут, и потому тут лучше.

Когда приходила Лужину очередь читать вслух, она выбирала для него фельетон с шутливым названием или коротенький, прочувствованный рассказ. Он читал, смешно запинаясь, странно произнося некоторые слова, переезжая иногда за точку или не доезжая до нее и бессмысленно повышая и понижая голос. Ей нетрудно было понять, что газеты его не занимают; когда же она затевала разговор, соответствовавший только что прочитанной статье, он поспешно соглашался со всеми ее заключениями, и когда, чтобы проверить его, она нарочно сказала, что эмигрантские газеты все врут, он согласился тоже.

Газеты одно, люди другое; хорошо бы послушать этих людей. Она представила себе, как у нее в квартире будут собираться люди разного толка

— «всякая интеллигентщина», по выражению матери, — и как, слушая живые споры и беседы на новые темы, Лужин если не расцветет, то по крайней мере найдет временное развлечение. Из всех знакомых ее матери наиболее просвещенным и даже «левым», как с некоторым кокетством утверждала мать, считался Олег Сергеевич Смирновский, — но когда Лужина к нему обратилась с просьбой привести к ней несколько интересных, свободомыслящих людей, читающих не только «Знамя», но и «Объединение» и «Зарубежный Голос», — Смирновский ответил, что он, мол, не вращается в таких кругах, и стал порицать подобное вращение и быстро объяснил, что вращается в других кругах, где вращение необходимо, и у Лужиной неприятно закружилась голова, как в Луна-парке на вращающемся диске. После этой неудачи она из разных келеек памяти стала извлекать людей, которых случайно встречала и которые могли ей теперь пособить. Она вспомнила русскую девицу, которая сидела с ней рядом в школе прикладных искусств, дочь политического деятеля из демократов; вспомнила и Алферова, который бывал всюду и охотно рассказывал, что однажды у него на руках умер старый поэт; вспомнила мало ценимого родственника, слу-

жившего в конторе русской газеты, название которой с гортанными руладами выкрикивала под вечер толстая газетчица на углу. Выбрала еще кое-кого и, кроме того, подумала, что многие, вероятно, помнят Лужина-писателя и знают о Лужине-шахматисте и с удовольствием будут посещать его дом.

И что было Лужину до всего этого? Единственное, что по-настоящему занимало его, была сложная, лукавая игра, в которую он — непонятно как — был замешан. Беспомощно и хмуро он выискивал приметы шахматного повторения, продолжая недоумевать, куда оно клонится. Но всегда быть начеку, всегда напрягать внимание он тоже не мог: что-то временно ослабевало в нем, он беззаботно наслаждался партией, напечатанной в газете, и, вдруг спохватившись, с тоской отмечал, что опять недосмотрел и в его жизни только что был сделан тонкий ход, беспощадно продолжавший роковую комбинацию. Тогда он решал удвоить бдительность, следить за каждой секундой жизни, ибо всюду мог быть подвох. И больше всего его томила невозможность придумать разумную защиту, ибо цель противника была еще скрыта.

Слишком полный и дряблый для своих лет, он

ходил между людей, придуманных его женой, старался найти тихое место и все время смотрел и слушал, не проскользнул ли где намек на следующий ход, не продолжается ли игра, не им затеянная, но с ужасной силой направленная против него. Случалось, что намек такой бывал, что-то подвигалось вперед, но общее значение комбинации от этого не становилось яснее. И тихое место трудно было отыскать, — к нему обращались с вопросами, которые ему приходилось несколько раз про себя повторить, прежде чем понять их простой смысл и найти простой ответ. Во всех трех, телескопом раскрывшихся комнатах было очень светло, — ни одной не пощадили лампочки, — люди сидели в столовой, и на неудобных стульях в гостиной, и в кабинете на оттоманке, а один, в бледных фланелевых штанах, все норовил устроиться на письменном столе, отстраняя для удобства коробку с красками и кучку нераспечатанных газет. Пожилой актер, с лицом, перещупанным многими ролями, весь мягкий, мягкоголосый, почему-то производивший впечатление, что лучше всего он играет в ночных туфлях, там, где требуется кряхтение, охание, ужимчивое похмелье, заковыристые, сдобные словечки, — сидел на оттоманке, рядом

с добротной, черноглазой женой журналиста Барса, бывшей актрисой, и вспоминал с ней, как они когда-то в Самаре вместе играли в «Мечте Любви». «Помните, какой вышел конфуз с цилиндром? И как я ловко нашелся?» — мягко говорил актер. «Бесконечные овации, — говорила черноглазая дама, — мне были устроены такие овации, что никогда не забуду…» Так они перебивали друг друга, вспоминая каждый свое, а человек в бледных штанах уже третий раз просил у замечтавшегося Лужина «папиросу, папиросочку». Был он начинающий поэт, читал свои стихи с пафосом, с подпеванием, слегка вздрагивая головой и глядя в пространство. Вообще же держал он голову высоко, отчего был очень заметен крупный, подвижный кадык. Папиросы он так и не получил, ибо Лужин задумчиво перешел в гостиную, и, глядя с благоговением на его толстый затылок, поэт думал о том, какой это чудесный шахматист, и предвкушал время, когда с отдохнувшим, поправившимся Лужиным можно будет поговорить о шахматах, до которых был большой охотник, а потом увидел в пройму двери жену Лужина и некоторое время решал про себя вопрос, стоит ли за ней поволочиться. Лужина, улыбаясь, слушала, что говорит высокого роста, со щербатым лицом,

журналист Барс, а сама думала, как трудно усаживать этих гостей за общий чайный стол и не лучше ли в будущем просто разносить чай по углам. Барс говорил с необычайной быстротой и всегда так, словно ему необходимо в кратчайший срок выразить очень извилистую мысль со всеми ее придатками, ускользающими хвостиками, захватить, подправить все это, и если слушатель попадался внимательный, то мало-помалу начинал понимать, что в лабиринте этой спешащей речи постепенно проступает удивительная гармония, и самая эта речь, с неправильными подчас ударениями и газетными словами, внезапно преображалась, как бы перенимая от высказанной мысли ее стройность и благородство. Лужина, увидев мужа, сунула ему в руку тарелочку с красиво очищенным апельсином и прошла мимо него в кабинет. «И заметьте, — сказал невзрачного вида человек, выслушав и оценив мысль журналиста, — заметьте, что тютчевская ночь прохладна, и звезды там круглые, влажные, с отливом, а не просто светлые точки». Он больше ничего не сказал, так как говорил вообще мало, не столько из скромности, сколько, казалось, из боязни расплескать что-то драгоценное, не ему принадлежащее, но порученное ему. Лужи-

ной, кстати сказать, он очень нравился, именно невзрачностью, неприметностью черт, словно он был сам по себе только некий сосуд, наполненный чем-то таким священным и редким, что было бы даже кощунственно внешность сосуда расцветить. Его звали Петров, он ничем в жизни не был замечателен, ничего не писал, жил, кажется, по-нищенски, но об этом никогда не рассказывал. Единственным его назначением в жизни было сосредоточенно и благоговейно нести то, что было ему поручено, то, что нужно было сохранить непременно, во всех подробностях, во всей чистоте, а потому и ходил он мелкими, осторожными шажками, стараясь никого не толкнуть, и только очень редко, только когда улавливал в собеседнике родственную бережность, показывал на миг — из всего того огромного и таинственного, что он в себе нес, — какую-нибудь нежную, бесценную мелочь, строку из Пушкина или простонародное название полевого цветка. «Я вспоминаю его отца, — сказал журналист, когда спина Лужина удалилась в столовую. — Лицом не похож, но есть что-то аналогичное в наклоне плеч. Милый, хороший был человек, но как писатель… Что? Вы разве находите, что эти олеографические повести для юношества…» «Пожалуйста, пожалуйста, в

столовую, — заговорила Лужина, возвращаясь из кабинета с найденными там тремя гостями. — Чай подан. Ну, я прошу вас». Те, которые уже были за столом, сидели в одном конце, — в другом же одиноко сидел Лужин, мрачно нагнув голову, жевал апельсин и мешал чай в стакане. Был тут Алферов с женой, смуглая, ярко накрашенная барышня, чудесно рисовавшая жар-птиц, лысый молодой человек, с юмором называвший себя газетным работником, но втайне мечтавший быть коноводом в политике, две дамы — жены адвокатов… И еще сидел за столом милейший Василий Васильевич, застенчивый, благообразный, светлобородый, в старческих штиблетах, кристальной души человек. В свое время его ссылали в Сибирь, потом за границу, оттуда он вернулся, успел одним глазком повидать революцию и был сослан опять. Он задушевно рассказывал о подпольной работе, о Каутском, о Женеве и не мог без умиления смотреть на Лужину, в которой находил сходство с какими-то ясноглазыми идеальными барышнями, работавшими вместе с ним на благо народа. И в этот раз, как и в предыдущие разы, Лужина заметила, что, когда наконец все гости были собраны и посажены все вместе за стол, наступило молчание. Молчание

было такое, что ясно слышно было дыхание горничной, разносившей чай. Лужина несколько раз ловила себя на невозможной мысли, что хорошо бы спросить у горничной, почему она так громко дышит и не может ли она это делать тише. Была она вообще не очень расторопна, эта пухленькая девица, особенно — беда с телефонами. Лужина, прислушиваясь к дыханию, мельком вспомнила, что на днях горничная ей со смехом доложила: «Звонил господин Фа… Фа… Фати. Вот, я записала номер». Лужина по номеру позвонила, но резкий голос ответил, что тут кинематографическая контора и никакого Фати нет. Какая-то безнадежная путаница. Она собралась было попенять на немецких горничных, чтобы вывести из молчания соседа, но тут заметила, что разговор уже вспыхнул, говорят о новой книге. Барс утверждал, что она написана изощренно и замысловато и в каждом слове чувствуется бессонная ночь; дамский голос сказал, что «ах нет, она так легко читается»; Петров нагнулся к Лужиной и шепнул ей цитату из Жуковского: «Лишь то, что писано с трудом, читать легко»; а поэт, кого-то перебив на полслове, запальчиво картавя, крикнул, что автор дурак; на что Василий Васильевич, не читавший книги, укоризненно покачал головой.

Только уже в передней, когда все друг с другом прощались в виде пробного испытания, ибо потом все опять прощались друг с другом на улице, хотя всем было идти в одну сторону, — актер с перещупанным лицом вдруг хватил себя по лбу ладонью: «Чуть не забыл, голубушка, — сказал он, при каждом слове почему-то пожимая Лужиной руку. — На днях у меня спрашивал ваш телефон один человек из кинематографического королевства. — Тут он сделал удивленные глаза и отпустил руку Лужиной. — Как, вы не знаете, что я теперь снимаюсь? Как же, как же. Большие роли, и во всю морду». На этом месте его оттеснил поэт, и Лужина так и не узнала, о каком человеке хотел сказать актер.

Гости ушли. Лужин сидел боком к столу, на котором замерли в разных позах, как персонажи в заключительной сцене «Ревизора», остатки угощения, пустые и недопитые стаканы. Одна его рука была тяжело растопырена на скатерти. Из-под полуопущенных, снова распухших век он смотрел на черный, свившийся от боли кончик спички, которая только что погасла у него в пальцах. Его большое лицо, с вялыми складками у носа и рта, слегка лоснилось, и на щеках золотистой от света щетиной уже успел за день

наметиться вечно сбриваемый и вечно всходящий волос. Темно-серый, мохнатый на ощупь костюм облегал его теснее, чем прежде, хотя был задуман просторным. Так сидел Лужин, не шевелясь, и блестели стеклянные вазочки с конфетами; и какая-то ложечка застыла на скатерти, далеко от всякого прибора, и в полной неприкосновенности почему-то остался маленький, не прельщавший взгляда, но очень, очень вкусный пирог. «Что же это такое, — думала Лужина, глядя на мужа, — Господи, что же это такое?» И она почувствовала бессилие, безнадежность, мутную тоску, словно взялась за дело, слишком для нее трудное. И все пропадало зря, как этот пирог, все пропадало зря, — незачем было стараться, придумывать развлечения, созывать занятных гостей. Она попробовала представить себе, как вот этого, опять слепого, опять хмурого Лужина станет возить по Ривьере, и всего только и увидела: Лужин сидит в номере гостиницы, уставившись в пол. С неприятным чувством, что подглядывает сквозь замочную скважину судьбы, она на миг нагнулась и увидела будущее, — десять, двадцать, тридцать лет, — и все было то же самое, никакой перемены, все тот же хмурый, согбенный Лужин, и молчание, и безнадежность. Дурная,

недостойная мысль. Ее душа сразу разогнулась опять, и кругом были знакомые образы и заботы: пора спать, песочного пирога в следующий раз не нужно, какой милый Петров, завтра утром придется ехать насчет паспортных дел, опять откладывается кладбище. Казалось, чего проще — сесть им в таксомотор и покатить туда, за город, на маленькое, окруженное пустырем кладбище. Но все случалось так, что ехать нельзя было: то зубы у Лужина болели, то вот паспортные хлопоты, то еще что-нибудь, — мелкие, незаметные помехи. И сколько теперь будет разных дел… Непременно нужно будет Лужина повести к дантисту. «Опять болит?» — спросила она и опустила ладонь на руку Лужина. «Да-да», — сказал он и, скривив лицо, вобрал одну щеку с чмокающим звуком. Зубную боль он придумал на днях, чтобы объяснить как-нибудь свою подавленность и молчание. «Завтра же позвоню дантисту», — решительно сказала она. «Не надо, — протяжно проговорил Лужин, — пожалуйста, не надо». Губы у него задрожали. Он почувствовал, что сейчас разрыдается, слишком уж становилось все это страшно. «Чего не надо?» — спросила она ласково и вопросительный знак выразила маленьким звуком, вроде «ым?» с закрытыми губами. Он

потряс головой и на всякий случай опять пососал зуб. «К дантисту не надо? Нет, Лужина к дантисту поведут. Это нельзя запускать». Лужин встал со стула и, держась за щеку, ушел в спальню. «Я ему дам облатку, — сказала она. — Вот что».

Облатка не подействовала. Лужин долго еще бодрствовал после того, как заснула жена. По правде сказать, ночные часы, часы бессонницы в темной, запертой комнате, были единственные, когда можно спокойно думать и не бояться пропустить новый ход в чудовищной комбинации. Ночью, особенно если лежать неподвижно, с закрытыми глазами, ничего произойти не могло. Тщательно и по возможности хладнокровно Лужин проверял уже сделанные против него ходы, но как только он начинал гадать, какие формы примет дальнейшее повторение схемы его прошлого, ему становилось смутно и страшно, будто надвигалась на него с беспощадной точностью неизбежная и немыслимая беда. В эту ночь он особенно остро почувствовал свое бессилие перед этой медленной, изощренной атакой, и ему захотелось не спать вовсе, продлить как можно больше эту ночь, эту тихую темноту, остановить время на полночи. Жена спала совершенно безмолвно; вернее всего — ее

не было вовсе. Только тиканье часов на ночном столике доказывало, что время продолжает жить. Лужин вслушивался в это мелкое сердцебиение и задумывался опять и вдруг вздрогнул, заметив, что тиканье часов прекратилось. Ему показалось, что ночь застыла навсегда, теперь уже не было ни единого звука, который бы отмечал ее прохождение, время умерло, все было хорошо, бархатная тишь. Этим счастьем и успокоением незаметно воспользовался сон, и уже во сне покоя не было, а простирались всё те же шестьдесят четыре квадрата, великая доска, посреди которой, дрожащий и совершенно голый, стоял Лужин, ростом с пешку, и вглядывался в неясное расположение огромных фигур, горбатых, головастых, венценосных.

Он проснулся оттого, что жена, уже одетая, наклонилась над ним и поцеловала в переносицу. «Здравствуйте, милый Лужин, — сказала она. — Уже десять часов. Что мы сегодня делаем, — дантист или виза?» Лужин посмотрел на нее светлыми, растерянными глазами и сразу прикрыл веки опять. «А кто забыл на ночь часы завести? — засмеялась жена, слегка тормоша его за полную белую шею. — Так можно проспать всю жизнь». Она наклонила голову набок, глядя

на профиль мужа, окруженный вздутием подушки, и, заметив, что он снова заснул, улыбнулась и вышла из комнаты. В кабинете она постояла перед окном, глядя на зеленовато-голубое небо, по-зимнему безоблачное, и подумала, что сегодня, должно быть, очень холодно и Лужину надо приготовить шерстяной жилет. На письменном столе зазвонил телефон, это, очевидно, мать спрашивала, будут ли они сегодня у нее обедать. «Алло?» — сказала Лужина, присев на край стола. «Аллё, аллё», — взволнованно и сердито закричал в телефон неизвестный голос. «Да-да, я слушаю», — сказала Лужина и пересела в кресло. «Кто там?» — по-немецки, но с русской растяжкой, спросил недовольный голос. «А кто говорит?» — понаведалась Лужина. «Господин Лужин дома?» — спросил голос по-русски. «Кто говорит?» — с улыбкой повторила Лужина. Молчание. Голос как будто решал про себя вопрос, открыться или нет. «Я хочу говорить с господином Лужиным, — начал он опять, вернувшись к немецкому языку. — Очень спешное и важное дело». — «Минуточку», — сказала Лужина и прошлась раза два по комнате. Нет, Лужина будить не стоило. Она вернулась к телефону. «Еще спит, — сказала она. — Но если хотите ему

что-нибудь передать…» — «Ах, это очень досадно, — заговорил голос, окончательно усвоив русскую речь. — Я звоню уже второй раз. Я прошлый раз оставил свой телефон. Дело для него крайне важное и не терпящее отлагательств». — «Я — его жена, — сказала Лужина. — Если что нужно…» — «Очень рад познакомиться, — деловито перебил голос. — Моя фамилия — Валентинов. Ваш супруг, конечно, рассказывал вам обо мне. Так вот: скажите ему, как только он проснется, чтобы он садился в автомобиль и ехал бы ко мне. Киноконцерн “Веритас”, Рабенштрассе, 82. Дело очень спешное и для него очень важное!» — продолжал голос, опять перейдя на немецкий язык, потому ли, что этого требовала важность дела, или потому просто, что немецкий адрес увлек его в соответствующую речь, — неизвестно. Лужина сделала вид, что записывает адрес, и потом сказала: «Может быть, вы мне все-таки скажете сперва, в чем дело». Голос неприятно взволновался: «Я старый друг вашего мужа. Каждая секунда дорога. Я его жду сегодня ровно в двенадцать. Пожалуйста, передайте ему. Каждая секунда — » — «Хорошо, — сказала Лужина. — Я ему передам, но только не знаю, — может быть, ему сегодня неудобно». — «Шепните ему одно: Валентинов

тебя ждет», — засмеялся голос и, пропев немецкое «до свидания», провалился в щелкнувший люк. Несколько мгновений Лужина просидела в раздумье, потом она назвала себя дурой. Надо было прежде всего объяснить, что Лужин перестал заниматься шахматами. Валентинов… Тут только она вспомнила визитную карточку, найденную в шапокляке. Валентинов, конечно, знакомый Лужина по шахматным делам. Других знакомых у него не было. Ни о каком старом друге он никогда не рассказывал. Тон у этого господина совершенно невозможный. Нужно было потребовать, чтобы он объяснил, в чем дело. Дура. Что же теперь делать? Спросить у Лужина? — нет. Кто такой Валентинов? Старый друг… Граальский говорил, что у него справлялись… Ага, очень просто. Она пошла в спальню, убедилась, что Лужин еще спит, — а спал он по утрам удивительно крепко, — и вернулась к телефону. Актер, к счастью, оказался дома и сразу принялся рассказывать длинную историю о легкомысленных и подловатых поступках, совершенных когда-то его вчерашней собеседницей. Лужина, нетерпеливо дослушав, спросила, кто такой Валентинов. Актер ахнул и стал говорить, что «представьте себе, вот я какой забывчивый, без суфлера не могу жить»;

и наконец, подробно рассказав о своих отношениях с Валентиновым, мельком упомянул, что Валентинов, по его, валентиновским, словам, был шахматным опекуном Лужина и сделал из него великого игрока. Затем актер вернулся ко вчерашней даме и, рассказав еще одну ее подлость, стал многоречиво с Лужиной прощаться, причем последние его слова были: «Целую в ладошку».

«Вот оно что, — проговорила Лужина, повесив трубку. — Ну, хорошо». Тут она спохватилась, что в разговоре раза два произнесла фамилию Валентинова и что муж мог случайно слышать, если выходил из спальни в прихожую. У нее екнуло сердце, и она побежала проверить, спит ли он еще. Он проснулся и курил в постели. «Мы сегодня никуда не поедем, — сказала она. — Очень все поздно вышло. А обедать будем у мамы. Полежите еще, вам полезно, вы толстый». Крепко прикрыв дверь спальни и затем дверь кабинета, она торопливо выискала в телефонной книге номер «Веритаса» и, прислушавшись, не ходит ли поблизости Лужин, позвонила. Оказалось, что Валентинова не так-то легко добиться. Трое разных людей, сменяясь, подходили к телефону, отвечали, что сейчас позовут, а потом барышня разъединяла, и надо было начинать сызнова. При

этом она старалась говорить по возможности тише, и приходилось повторять, и это было очень неприятно. Наконец желтенький, худенький голос уныло сообщил ей, что Валентинова нет, но что он непременно будет в половине первого. Она попросила передать, что Лужин не может приехать, так как болен, будет болеть долго и убедительно просит, чтобы его больше не беспокоили. Опустив трубку на вилку, она опять прислушалась, услышала только стук своего сердца и тогда вздохнула и с безмерным облегчением сказала «уф!». С Валентиновым было покончено. Слава Богу, что она оказалась одна у телефона. Теперь это миновало. А скоро отъезд. Еще нужно позвонить матери и дантисту. А с Валентиновым покончено. Какое слащавое имя. И на минуту она задумалась, совершив за эту одну минуту, как это иногда бывает, долгое и неторопливое путешествие: направилась она в лужинское прошлое, таща за собой Валентинова, которого по голосу представила себе в черепаховых очках, длинноногого, и, путешествуя в легком тумане, она искала место, где бы опустить наземь Валентинова, скользкого, отвратительно ерзавшего, но места она не находила, так как о юности Лужина не знала почти ничего. Пробираясь еще дальше,

вглубь, она, через призрачный курорт с призрачной гостиницей, где жил четырнадцатилетний вундеркинд, попала в детство Лужина, где было как-то светлее, — но и тут Валентинова не удалось пристроить. Тогда она вернулась вспять со своей все мерзостнее становившейся ношей, и кое-где, в тумане лужинской юности, были острова: он уезжает за границу играть в шахматы, покупает открытки в Палермо, держит в руках визитную карточку с таинственной фамилией… Пришлось возвратиться восвояси с пыхтящим, торжествующим Валентиновым и вернуть его фирме «Веритас», как заказной пакет, посланный по ненайденному адресу. Пускай же он и останется там, неведомый, но несомненно вредный, со страшным своим прозвищем: шахматный опекун.

По дороге к родителям она, идя под руку с Лужиным по солнечной, морозцем тронутой улице, стала говорить о том, что через неделю, самое позднее, они должны уехать, а до этого непременно посетить всеми забытую могилу. Тут же она наметила план этой недели, — паспорта, дантист, покупки, прощальный прием и — в пятницу — поездка на кладбище. В квартире у матери было холодно, не так, как месяц тому назад, но все-таки

холодно, и мать куталась в замечательную шаль с пионами по зелени и, кутаясь, зябко поводила плечами. Отец приехал во время обеда, и требовал водочки, и с сухим шелестом потирал руки. И Лужина в первый раз заметила, как грустно и пусто в этих звонких комнатах, и заметила, что веселость отца такая же притворная, как улыбка матери, и что оба они уже старые и очень одинокие, и бедного Лужина не любят, и стараются не упоминать о предстоящем отъезде. Она вспомнила все то ужасное, что о женихе говорилось, зловещие предостережения и крик матери: «На куски разрубит, в печке тебя сожжет»... А из всего этого вышло теперь что-то очень мирное и невеселое, и все улыбалось мертвой улыбкой, фальшиво разудалые бабы на картинах, овальные зеркала, берлинский самовар, четверо людей за столом.

«Затишье, — думал Лужин в этот день. — Затишье, но скрытые препарации. Оно желает меня взять врасплох. Внимание, внимание. Концентрироваться и наблюдать».

Все мысли его за последнее время были шахматного порядка, но он еще держался, — о прерванной партии с Турати запрещал себе думать, заветных номеров газет не раскрывал

— и все-таки мог мыслить только шахматными образами, и мысли его работали так, словно он сидит за доской. Иногда, во сне, он клялся доктору с агатовыми глазами, что в шахматы не играет, — вот только однажды расставил фигуры на карманной доске да просмотрел две-три партии, приведенные в газете, — просто так, от нечего делать. Да и эти падения случались не по его вине, а являлись серией ходов в общей комбинации, которая искусно повторяла некую загадочную тему. Трудно, очень трудно заранее предвидеть следующее повторение, но еще немного — и все станет ясным, и, быть может, найдется защита…

Но следующий ход подготовлялся очень медленно. Два-три дня продолжалось затишье; Лужин снимался для паспорта, и фотограф брал его за подбородок, поворачивал ему чуть-чуть лицо, просил открыть рот пошире и сверлил ему зуб с напряженным жужжанием. Жужжание прекращалось, дантист искал на стеклянной полочке что-то, и, найдя, ставил штемпель на паспорте, и писал, быстро-быстро двигая пером. «Пожалуйста», — говорил он, подавая бумагу, где были нарисованы зубы в два ряда, и на двух

зубах стояли чернилом[21] сделанные крестики. Во всем этом ничего подозрительного не было, и это лукавое затишье продолжалось до четверга. И в четверг Лужин все понял.

Еще накануне ему пришел в голову любопытный прием, которым, пожалуй, можно было обмануть козни таинственного противника. Прием состоял в том, чтобы по своей воле совершить какое-нибудь нелепое, но неожиданное действие, которое бы выпадало из общей планомерности жизни и таким образом путало бы дальнейшее сочетание ходов, задуманных противником. Защита была пробная, защита, так сказать, наудачу, — но Лужин, шалея от ужаса перед неизбежностью следующего повторения, ничего не мог найти лучшего. В четверг днем, сопровождая жену и тещу по магазинам, он вдруг остановился и воскликнул: «Дантист. Я забыл дантиста». — «Какие глупости, Лужин, — сказала жена. — Ведь вчера же он сказал, что все сделано». — «Нажимать, — проговорил Лужин и поднял палец. — Если будет нажимать пломба. Говорилось, что если будет нажимать, чтобы я приехал пунктуально в четыре. Нажимает. Без

[21] Примечания: 21

Редко встречающая форма единственного числа, отмеченная в словаре Даля.

десяти четыре». — «Вы что-то спутали, — улыбнулась жена. — Но конечно, если болит, поезжайте. А потом возвращайтесь домой, я буду дома к шести». — «Поужинайте у нас», — сказала с мольбой в голосе мать. «Нет, у нас вечером гости, — гости, которых ты не любишь». Лужин махнул тростью в знак прощания и влез в таксомотор, кругло согнув спину. «Маленький маневр», — усмехнулся он и, почувствовав, что ему жарко, расстегнул пальто. После первого же поворота он остановил таксомотор, заплатил и не торопясь пошел домой. И тут ему вдруг показалось, что когда-то он все это уже раз проделал, и он так испугался, что завернул в первый попавшийся магазин, решив новой неожиданностью перехитрить противника. Магазин оказался парикмахерской, да притом дамской. Лужин, озираясь, остановился, и улыбающаяся женщина спросила у него, что ему надо. «Купить…» — сказал Лужин, продолжая озираться. Тут он увидел восковой бюст и указал на него тростью (неожиданный ход, великолепный ход). «Это не для продажи», — сказала женщина. «Двадцать марок», — сказал Лужин и вынул бумажник. «Вы хотите купить эту куклу?» — недоверчиво спросила женщина, и подошел еще кто-то. «Да», — сказал Лужин и стал разглядывать

восковое лицо. «Осторожно, — шепнул он вдруг самому себе, — я, кажется, попадаюсь». Взгляд восковой дамы, ее розовые ноздри, — это тоже было когда-то. «Шутка», — сказал Лужин и поспешно вышел из парикмахерской. Ему стало отвратительно неприятно, он прибавил шагу, хотя некуда было спешить. «Домой, домой, — бормотал он, — там хорошенько все скомбинирую». Подходя к дому, он заметил, что у подъезда остановился большой, зеркально-черный автомобиль. Господин в котелке что-то спрашивал у швейцара. Швейцар, увидав Лужина, вдруг протянул палец и крикнул: «Вот он!» Господин обернулся.

…Слегка посмуглевший, отчего белки глаз казались светлее, все такой же нарядный, в пальто с котиковым воротником шалью, в большом белом шелковом кашне, Валентинов шагнул к Лужину с обаятельной улыбкой, — озарил Лужина, словно из прожектора, и при свете, которым он обдал его, увидел полное, бледное лужинское лицо, моргающие веки, и в следующий миг это бледное лицо потеряло всякое выражение, и рука, которую Валентинов сжимал в обеих ладонях, была совершенно безвольная. «Дорогой мой, — просиял словами Валентинов, — счастлив тебя увидеть. Мне говорили, что ты в постели, болен, дорогой.

Но ведь это какая-то путаница…» И, при ударении на «путаница», Валентинов выпятил красные, мокрые губы и сладко сузил глаза. «Однако нежности отложим на потом, — перебил он себя и со стуком надел котелок. — Едем. Дело исключительной важности, и промедление было бы… губительно», — докончил он, отпахнув дверцу автомобиля; после чего, обняв Лужина за спину, как будто поднял его с земли, и увлек, и усадил, упав с ним рядом на низкое, мягкое сиденье. На стульчике, спереди, сидел боком небольшой, востроносый человечек, с поднятым воротником пальто. Валентинов, как только откинулся и скрестил ноги, стал продолжать разговор с этим человечком, разговор, прерванный на запятой и теперь ускоряющийся по мере того, как расходился автомобиль. Язвительно и чрезвычайно обстоятельно он распекал его, не обращая никакого внимания на Лужина, который сидел, как бережно прислоненная к чему-то статуя, совершенно оцепеневший и слышавший, как бы сквозь тяжелую завесу, смутное, отдаленное рокотание Валентинова. Для востроносого это было не рокотание, а очень хлесткие, обидные слова, — но сила была на стороне Валентинова, и обижаемый только вздыхал да ковырял

с несчастным видом сальное пятно на черном своем пальтишке, а иногда, при особенно метком словце, поднимал брови и смотрел на Валентинова, но, не выдержав этого сверкания, сразу жмурился и тихо мотал головой. Распекание продолжалось до самого конца поездки, и когда Валентинов мягко вытолкнул Лужина на панель и захлопнул за собой дверцу, добитый человечек продолжал сидеть внутри, и автомобиль сразу повез его дальше, и, хотя места было теперь много, он остался, уныло сгорбленный, на переднем стульчике. Лужин меж тем уставился неподвижным и бессмысленным взглядом на белую, как яичная скорлупа, дощечку с черной надписью «Веритас», но Валентинов сразу увлек его дальше и опустил в кожаное кресло из породы клубных, которое было еще более цепким и вязким, чем сиденье автомобиля. В этот миг кто-то взволнованным голосом позвал Валентинова, и он, вдвинув в ограниченное поле лужинского зрения открытую коробку сигар, извинился и исчез. Звук его голоса остался дрожать в комнате, и для Лужина, медленно выходившего из оцепенения, он стал постепенно и вкрадчиво превращаться в некий обольстительный образ. При звуке этого голоса, при музыке шахматного соблазна, Лужин

вспомнил с восхитительной, влажной печалью, свойственной воспоминаниям любви, тысячу партий, сыгранных им когда-то. Он не знал, какую выбрать, чтобы со слезами насладиться ею, все привлекало и ласкало воображение, и он летал от одной к другой, перебирая на миг раздирающие душу комбинации. Были комбинации чистые и стройные, где мысль всходила к победе по мраморным ступеням; были нежные содрогания в уголке доски, и страстный взрыв, и фанфара ферзя, идущего на жертвенную гибель… Все было прекрасно, все переливы любви, все излучины и таинственные тропы, избранные ею. И эта любовь была гибельна.

Ключ найден. Цель атаки ясна. Неумолимым повторением ходов она приводит опять к той же страсти, разрушающей жизненный сон. Опустошение, ужас, безумие.

«Ах, не надо», — громко сказал Лужин и попробовал встать. Но он был слаб и тучен, и вязкое кресло не отпустило его. Да и что он мог предпринять теперь? Его защита оказалась ошибочной. Эту ошибку предвидел противник, и неумолимый ход, подготавливаемый давно, был теперь сделан. Лужин застонал и откашлялся, растерянно озираясь. Спереди был круглый стол, на нем альбомы,

журналы, отдельные листы, фотографии испуганных женщин и хищно прищуренных мужчин. А на одной был бледный человек с безжизненным лицом в больших американских очках, который на руках повис с карниза небоскреба — вот-вот сорвется в пропасть. И опять раздался невыносимо знакомый голос: Валентинов, чтобы не терять времени, заговорил с Лужиным, еще только подходя к двери, и когда дверь открыл, то продолжал начатую фразу: «…крутить новый фильм. Манускрипт сочинен мной. Представь себе, дорогой, молодую девушку, красивую, страстную, в купе экспресса. На одной из станций входит молодой мужчина. Из хорошей семьи. И вот, ночь в вагоне. Она засыпает и во сне раскинулась. Роскошная молодая девушка. Мужчина, — знаешь, такой, полный соку, — совершенно чистый, неискушенный юнец, начинает буквально терять голову. Он в каком-то трансе набрасывается на нее (и Валентинов, вскочив, сделал вид, что тяжело дышит и набрасывается). Он чувствует запах духов, кружевное белье, роскошное молодое тело… Она просыпается, отбрасывает его, кричит (Валентинов прижал кулак ко рту и закатил глаза), вбегает кондуктор, пассажиры. Его судят, посылают на каторгу. Старуха мать приходит к молодой

девушке умолять, чтобы спасли сына. Драма девушки. Дело в том, что с первого же момента — там, в экспрессе, — она им увлеклась, увлеклась, увлекла-ась, вся дышит страстью, а он, из-за нее, — понимаешь, вот в чем напряжение, — из-за нее отправлен на каторгу». Валентинов передохнул и продолжал более спокойно: «Дальше следует его бегство. Приключения. Он меняет фамилию и становится знаменитым шахматистом, и вот тут-то, мой дорогой, мне нужно твое содействие. У меня явилась блестящая мысль. Я хочу заснять как бы настоящий турнир, чтобы с моим героем играли настоящие, живые шахматисты. Турати уже согласился, Мозер тоже. Необходим еще гроссмейстер Лужин…»

«Я полагаю, — продолжал Валентинов после некоторой паузы, во время которой он глядел на совершенно бесстрастное лицо Лужина, — я полагаю, что он согласится. Он многим обязан мне. Он получит некоторую сумму за это коротенькое выступление. Он вспомнит при этом, что, когда отец бросил его на произвол судьбы, я щедро раскошелился. Я думал тогда, что ничего — свои, сочтемся. Я продолжаю так думать».

В это мгновение дверь с размаху открылась, и кудрявый господин без пиджака крикнул по-

немецки, с тревожной мольбой в голосе: «Ах, пожалуйста, господин Валентинов, на одну минуточку!» — «Прости, дорогой», — сказал Валентинов и пошел к двери, но, не доходя, круто повернулся, порылся в бумажнике и выбросил на стол перед Лужиным какой-то листок. «Недавно сочинил, — сказал он. — Ты реши покамест. Я через десять минут вернусь».

Он исчез. Лужин осторожно поднял веки. Машинально взял листок. Вырезка из шахматного журнала, диаграмма задачи. В три хода мат. Композиция доктора Валентинова. Задача была холодна и хитра, и, зная Валентинова, Лужин мгновенно нашел ключ. В этом замысловатом шахматном фокусе он, как воочию, увидел все коварство его автора. Из темных слов, только что в таком обилии сказанных Валентиновым, он понял одно: никакого кинематографа нет, кинематограф только предлог… ловушка, ловушка… Вовлечение в шахматную игру, и затем следующий ход ясен. Но этот ход сделан не будет.

Лужин рванулся и, мучительно оскалившись, вылез из кресла. Им овладела жажда движений. Играя тростью, щелкая пальцами свободной руки, он вышел в коридор, зашагал наугад, попал в какой-то двор и оттуда на улицу. Трамвай

со знакомым номером остановился перед ним. Он вошел, сел, но тотчас встал опять и, преувеличенно двигая плечами, хватаясь за кожаные ремни, перешел на другое место, около окна. Вагон был пустой. Кондуктору он дал марку и сильно затряс головой, отказываясь от сдачи. Невозможно было сидеть на месте. Он вскочил снова, чуть не упал, оттого что трамвай заворачивал, и пересел поближе к двери. Но и тут он не усидел, — и когда вдруг, ни с того ни с сего, вагон наполнился оравой школьников, десятью старухами, пятьюдесятью толстяками, Лужин продолжал двигаться, наступая на чужие ноги, и потом протиснулся к площадке. Увидев свой дом, он покинул трамвай на ходу, асфальт промчался под левым каблуком и, обернувшись, ударил его в спину, и трость, запутавшись в ногах, вдруг выскочила, как освобожденная пружина, взлетела к небу и упала рядом с ним. Две дамы подбежали к нему и помогли ему встать. Он ладонью стал сбивать пыль с пальто, надел шляпу и, не оглядываясь, зашагал к дому. Лифт оказался испорченным, и Лужин на это не попенял. Жажда движений еще не была утолена. Он стал подниматься по лестнице, а так как жил он очень высоко, это восхождение продолжалось

долго, ему казалось, что он влезает на небоскреб. Наконец он добрался до последней площадки, передохнул и, хрустнув ключом в замке, вошел в прихожую. Из кабинета вышла ему навстречу жена. Она была очень красная, глаза блестели. «Лужин, — сказала она, — где вы были?» Он снял пальто, повесил его, перевесил на другой крюк, хотел еще повозиться; но жена подошла к нему вплотную, и, дугообразно ее миновав, он вошел в кабинет, и она за ним. «Я хочу, чтобы вы сказали, где вы были. Отчего у вас руки в таком виде? Лужин!» Он зашагал по кабинету, а потом кашлянул и через прихожую пошел в спальню, где принялся тщательно мыть руки в большой бело-зеленой чашке, облепленной фарфоровым плющом. «Лужин, — растерянно крикнула жена, — я же знаю, что вы не были у дантиста. Я только что звонила к нему. Ну ответьте мне что-нибудь». Вытирая руки полотенцем, он обошел спальню и, все по-прежнему неподвижно глядя перед собой, вернулся в кабинет. Она схватила его за плечо, но он не остановился, подошел к окну, отстранил штору, увидел в синей вечерней бездне бегущие огни и, пожевав губами, пошел дальше. И тут началась странная прогулка, — по трем смежным комнатам взад и вперед ходил

Лужин, словно с определенной целью, и жена то шла рядом с ним, то садилась куда-нибудь, растерянно на него глядя, и иногда Лужин направлялся в коридор, заглядывал в комнаты, выходившие окнами во двор, и опять появлялся в кабинете. Минутами ей казалось, что, может быть, все это одна из тяжеленьких лужинских шуток, но было в лице у Лужина выражение, которого она не видела никогда, выражение… торжественное, что ли… трудно было определить словами, но почему-то, глядя на это лицо, она чувствовала наплыв неизъяснимого страха. И он все продолжал, откашливаясь и с трудом переводя дыхание, ровной поступью ходить по комнатам. «Ради Христа, садитесь, Лужин, — тихо говорила она, не сводя с него глаз. — Ну, поговорим о чем-нибудь. Лужин! Я купила вам несессер. Ах, садитесь, пожалуйста! Вы умрете, если будете так много гулять. Завтра мы поедем на кладбище. Завтра еще нужно многое сделать. Несессер из крокодиловой кожи. Лужин, пожалуйста!»

Но он не останавливался и только изредка замедлял шаг у окон, поднимал руку, но, раздумав, шел дальше. В столовой было накрыто на восемь человек. Она спохватилась, что вот, сейчас-сейчас, придут гости, — поздно уже отзва-

нивать, — а тут… этот ужас. «Лужин, — крикнула она, — ведь сейчас будут люди. Я не знаю, что делать… Скажите мне что-нибудь. Может быть, у вас несчастье, может быть, вы кого-нибудь встретили из неприятных знакомых? Скажите мне. Я так вас прошу, больше не могу просить…»

И вдруг Лужин остановился. Это было так, словно остановился весь мир. Случилось же это в гостиной, около граммофона.

«Стоп-машина», — тихо сказала она и вдруг расплакалась. Лужин стал вынимать вещи из карманов — сперва самопишущую ручку, потом смятый платок, еще платок, аккуратно сложенный, выданный ему утром; после этого он вынул портсигар с тройкой на крышке, подарок тещи, затем пустую красную коробочку из-под папирос, две отдельных папиросы, слегка подшибленных; бумажник и золотые часы — подарок тестя — были вынуты особенно бережно. Кроме всего этого оказалась еще крупная персиковая косточка. Все эти предметы он положил на граммофонный шкапчик, проверил, нет ли еще чего-нибудь.

«Кажется, всё», — сказал он и застегнул на животе пиджак. Его жена подняла мокрое от слез лицо и с удивлением уставилась на маленькую коллекцию вещей, разложенных Лужиным.

Он подошел к жене и слегка поклонился.

Она перевела взгляд на его лицо, смутно надеясь, что увидит знакомую кривую полуулыбку, — и точно: Лужин улыбался.

«Единственный выход, — сказал он. — Нужно выпасть из игры».

«Игра? Мы будем играть?» — ласково спросила она и одновременно подумала, что нужно напудриться, сейчас гости придут.

Лужин протянул руки. Она уронила платок на колени и поспешно подала ему пальцы.

«Было хорошо», — сказал Лужин и поцеловал ей одну руку, потом другую, как она его учила.

«Вы что, Лужин, как будто прощаетесь?»

«Да-да», — сказал он, притворяясь рассеянным. Потом повернулся и, кашлянув, вышел в коридор. В это мгновение раздался звонок из прихожей — простосердечный звонок аккуратного гостя. Она поймала мужа в коридоре, схватила его за рукав. Лужин обернулся и, не зная, что сказать, смотрел ей на ноги. Из глубины выбежала горничная, и, так как коридор был довольно узкий, произошло легкое, торопливое столкновение: Лужин слегка отступил, потом шагнул вперед, его жена тоже двинулась туда-сюда, бессознательно приглаживая волосы, а горничная, приговаривая что-то

и нагибая голову, старалась найти лазейку, где бы проскочить. Когда она наконец проскочила и исчезла за портьерой, отделявшей от коридора прихожую, Лужин, как давеча, поклонился и быстро открыл дверь, у которой стоял. Сама не зная почему, его жена схватилась за ручку двери, которую он уже закрывал за собой; Лужин нажал, она схватилась крепче и стала судорожно смеяться, пытаясь просунуть колено в еще довольно широкую щель, — но тут Лужин навалился всем телом, и дверь закрылась, щелкнула задвижка, да еще ключ повернулся дважды в замке. Меж тем в прихожей уже были голоса, кто-то отдувался, кто-то с кем-то здоровался.

Лужин, заперев дверь, первым делом включил свет. Белым блеском раскрылась эмалевая ванна у левой стены. На правой висел рисунок карандашом: куб, отбрасывающий тень. В глубине, у окна, стоял невысокий комод. Нижняя часть окна была как будто подернута ровным морозом, искристо-голубая, непрозрачная. В верхней части чернела квадратная ночь с зеркальным отливом. Лужин дернул за ручку нижнюю раму, но что-то прилипло или зацепилось, она не хотела открыться. Он на мгновение задумался, потом взялся за спинку стула, стоявшего подле ванны,

и перевел взгляд с этого крепкого, белого стула на плотный мороз стекла. Решившись наконец, он поднял стул за ножки и краем спинки, как тараном, ударил. Что-то хрустнуло, он двинул еще раз, и вдруг в морозном стекле появилась черная, звездообразная дыра. Был миг выжидательной тишины. Затем глубоко-глубоко внизу что-то нежно зазвенело и рассыпалось. Стараясь расширить дыру, он ударил еще раз, и клинообразный кусок стекла разбился у его ног. Тут он замер. За дверью были голоса. Кто-то постучал. Кто-то громко позвал его по имени. Потом тишина, и совершенно ясно голос жены: «Милый Лужин, отоприте, пожалуйста». С трудом сдерживая тяжкое свое дыхание, Лужин опустил на пол стул и попробовал высунуться в окно. Большие клинья и углы еще торчали в раме. Что-то полоснуло его по шее, он быстро втянул голову обратно, — нет, не пролезть. В дверь забухал кулак. Два мужских голоса спорили, и среди этого грома извивался шепот жены. Лужин решил больше не бить стекла, слишком оно звонко. Он поднял глаза. Верхняя оконница. Но как до нее дотянуться? Стараясь не шуметь и ничего не разбить, он стал снимать с комода предметы: зеркало, какую-то бутылочку, стакан. Делал он все медленно

и хорошо, напрасно его так торопил грохот за дверью. Сняв также и скатерть, он попытался влезть на комод, приходившийся ему по пояс, и это удалось не сразу. Стало душно, он скинул пиджак и тут заметил, что и руки у него в крови, и перед рубашки в красных пятнах. Наконец он оказался на комоде, комод трещал под его тяжестью. Он быстро потянулся к верхней раме и уже чувствовал, что буханье и голоса подталкивают его и он не может не торопиться. Подняв руку, он рванул раму, и она отпахнулась. Черное небо. Оттуда, из этой холодной тьмы, донесся голос жены, тихо сказал: «Лужин, Лужин». Он вспомнил, что подальше, полевее, находится окно спальни, из него-то и высунулся этот шепот. За дверью меж тем голоса и грохот росли, было там человек двадцать, должно быть, — Валентинов, Турати, старик с цветами, сопевший, крякавший, и еще, и еще, и все вместе чем-то били в дрожащую дверь. Квадратная ночь, однако, была еще слишком высоко. Пригнув колено, Лужин втянул стул на комод. Стул стоял нетвердо, трудно было балансировать, все же Лужин долез. Теперь можно было свободно облокотиться о нижний край черной ночи. Он дышал так громко, что себя самого оглушал, и уже далеко, далеко были крики за

дверью, но зато яснее был пронзительный голос, вырывавшийся из окна спальни. После многих усилий он оказался в странном и мучительном положении: одна нога висела снаружи, где была другая — неизвестно, а тело никак не хотело протиснуться. Рубашка на плече порвалась, все лицо было мокрое. Уцепившись рукой за что-то вверху, он боком пролез в пройму окна. Теперь обе ноги висели наружу, и надо было только отпустить то, за что он держался, — и спасен. Прежде чем отпустить, он глянул вниз. Там шло какое-то торопливое подготовление: собирались, выравнивались отражения окон, вся бездна распадалась на бледные и темные квадраты, и в тот миг, что Лужин разжал руки, в тот миг, что хлынул в рот стремительный ледяной воздух, он увидел, какая именно вечность угодливо и неумолимо раскинулась перед ним.

Дверь выбили. «Александр Иванович, Александр Иванович!» — заревело несколько голосов.

Но никакого Александра Ивановича не было.